



Андрей
Кутерницкий

ВЕДЬ

Издательство «Геликон Плюс»

Андрей Кутерницкий

Ведь

«Геликон Плюс»

2019

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Кутерницкий А. Д.

Ведь / А. Д. Кутерницкий — «Геликон Плюс», 2019

ISBN 978-5-00098-232-7

Случайная встреча на главном почтамте города. Насколько судьбоносной может она оказаться? Что, если тот безумный калека, которого ты увидел лишь мельком, – портрет твоей отчаявшейся души? А женщина, повязывающая в кухне передник, чтобы приготовить тебе еду, и кажущаяся такой обычной, земной – именно она была той единственной, рожденной только для тебя? Как подняться на недостижимую высоту, чтобы оттуда увидеть все человечество и различить себя среди миллиардов людей? И понять: кто ты среди них. Откуда мы пришли? Куда идем? Сколько у тебя времени, чтобы узнать правду? Говорят, что ад – это истина, увиденная слишком поздно. Человек творит сам в себе. Его душа так легко склоняется и к добру и к злу. Пожалуй, один из самых непростых и завораживающих сюжетов в современной русской прозе – роман «Ведь» Андрея Кутерницкого рассказывает об этом безжалостно честно, и порой – пугающе зримо.

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00098-232-7

© Кутерницкий А. Д., 2019
© Геликон Плюс, 2019

Содержание

Часть первая	6
1. Над водой	6
2. В ту пору	10
3. Спускаясь по лестнице	14
4. На набережной	24
5. Погоня	29
6. Город ночью	34
7. Возле огненных топок кипящих котлов	36
Часть вторая	42
8. Адажио Альбинони	42
9. В старом финском доме	44
10. Звук имени	47
11. У Морского собора	52
12. Мария	60
13. Лесной царь	67
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Андрей Кутерницкий

Ведь

© Кутерницкий А., текст, 2019.

© «Геликон Плюс», макет, 2019.

* * *

*Что брошено в огонь, то не может оставаться в собственной
природе, но по необходимости само делается огнем.*

Св. Макарий Великий

Часть первая

1. Над водой

Вода была гладкая, с медными расплывчатыми бликами, небо – красно-золотое, как гигантская топка, в которой нет пламени, но все раскалено, а силуэты железных мостов над рекой – угольно-черные. И весь город под сияющим закатным небом был тих и сумрачен.

И оттого, что небо, полное огня, не освещало с высоты город и он под ярким небесным сводом оставался тёмным, в сердце дрожало чудесное предчувствие, что именно здесь, в лабиринте вечерних улиц, в змеиных изгибах каналов и рек, затаилось главное, запретное, желанное. И хотелось быть причастным к этим камням и текучим водам, ибо, едва душа внезапными волнениями чуть притрагивалась к их тайне, как сейчас же являлось удушливое ощущение нескончаемости жизни, и не будущей потусторонней, а этой, сиюминутной, земной.

А впрочем, дело не в образе Санкт-Петербурга – Ленинграда, в котором от Санкт-Петербурга был пейзаж, а от Ленинграда – место во времени, а в том, что я целовал раскрытые губы Ирины, сильные, горячие, и весь огонь закатного неба не имел в себе столько страсти, сколько таилось в едва заметном дрожании ее густых выгнутой ресниц.

Дыхание женщины.

Надо очень многое потерять в жизни, чтобы суметь постичь, чтобы всей жизненной силой, которая в тебе есть, познать, что такое дыхание женщины.

Но в тот июльский вечер ей было девятнадцать лет, и мы целовались на площадке гранитного спуска к Неве.

Рядом с нами сплошной тяжелой массой двигалась вода. Вода была спокойна внутри себя – ни одна волна не возмущала ее блестящей маслянистой глади, – но враждебна к каменным берегам. Она двигалась тягуче медленно, и именно в ее медлительности заключалась ее мощь. При взгляде на нее сразу становилось ясно: у этой несметной массы воды есть своя собственная воля, поколебать которую мы не в силах. Как бы часто ни бились наши сердца, она будет двигаться так же медленно и мощно. И имей мы даже всю веру Христову, какую возможно иметь человеку, мы не заставим ее двигаться быстрее.

Но и мы были сейчас как жадные звери; что-то стремительно высвобождалось в нас и мгновенно заполнялось этим ярким звериным счастьем, предел которого – кровь и смерть, что-то гудело в нас колоколами, ликовало...

Объятая сразу сотней моих рук, так что мои пальцы чувствовали сквозь ее плотное, из какой-то мягкой арабской ткани с золотистым восточным узором платье каждый ее мускул, родинку, изгиб ребра, бугорки всплывающих и тонущих позвонков, внезапным переливом вдруг подтверждавших мне свою покорность, она стояла спиной к воде. Вода была менее полупага позади каблуков ее выходных серых туфель, для меня надетых, как и это красивое платье.

Непостижимым образом я видел сразу в одном взгляде и ее лицо, охваченное путаницей густых, освобожденных от заколки волос, и тугий пояс на ее талии, и ее голые загорелые ноги, и пальцы на ногах внутри туфель, и каблуки туфель, и рядом – движущуюся воду, и далекую воду, и на том берегу – черный монолит Петропавловского собора. И меня охватило мучительное желание – я тут же понял: мне ни за что не исполнить его, – вместе с нею, не размыкая наших губ, рухнуть в воду.

С громко бьющимися сердцами мы взошли на набережную. Мы знали: нам не донести наш огонь до дома, до огражденного кирпичными стенами уединения.

Освещение улиц еще не было включено. Сухо шелестя шинами, мимо нас пронеслись темные автомобили, неся под радиаторами мелкие огоньки. Мостовая на всем протяжении кишела мириадами этих точечных глаз.

Я шагнул на асфальт, пытался голосовать, но механическое стадо не замечало меня.

Крепко взявшись за руки, мы полетели вдоль парапета набережной к аллеям Летнего сада. Он был закрыт на ночь, но за Лебяжьим мостом не составляло труда перелезть через ограду.

Внезапно наше внимание привлек речной трамвайчик. Он одиноко стоял у пустой пристани в полутьме. Одновременно мы почувствовали: он манит нас чем-то тревожным, воровским... И разгадали: не был освещен пассажирский салон, хотя на полукруглой корме на флагштоке мерцал бледный флаг.

Бандитский корабль собирался отходить, был слышен работающий двигатель.

Мы кинулись на пристань.

И вдруг, в момент сбегания по гранитным ступеням и деревянным мосткам, я ощутил необыкновенную легкость Ирины, легкость ее ног, рук, движений, шагов. Нет, она не была воздушна, но легка! И – я почувствовал – молода очень. Это внезапное ощущение ее молодости возникло из частого отщелка о камень подковок каблуков ее туфель.

Сбежав на пристань, мы увидели, что окна пассажирского салона наглухо заварены стальными листами и закрашены под цвет рубки.

На борту, низко склонившись над палубой, точно с удавом, боролся с кольцом швартового каната усатый юнец в матросской форме. Его руки были перепачканы краской, и черные волосы спадали ему на лоб.

– Куда пойдете? – спросил я.

– На Острова, – ответил он, на меня не глядя.

– Возьмите нас!

Борт теплохода начал медленно отодвигаться от пристани.

– Червонец! – выдохнул я. – На корме.

Его нерешительности было достаточно: мы прыгнули на палубу.

И сейчас же теплоход отвалил от пристани.

– Только без шороха! – властно сказал матрос, принимая деньги. – Через салон и – до упора!

Надо было дать ему в морду за это «Без шороха!» – но, еще плохо ориентируясь от внезапной смены обстоятельств, я упустил момент.

Одни, ощупью, мы начали спускаться по ступеням невидимого трапа. Темнота дохнула в нас запахами масляной краски, спиртовых растворителей и сосновых досок. Мы ступили на мелко вибрирующий пол и, ощущая подошвами обуви резиновый коврик, пошли по узкому проходу. Коврик указывал нам дорогу.

Неожиданно твердь под нами полетела вправо. Пытаясь удержать от падения Ирину, я схватился за деревянный брус, и мы наконец узрели в конце этой длинной тьмы, заваленной по обе стороны от прохода чуть поблескивающими алюминиевыми бидонами, бочками и досками, бледно светящийся проем двери на корму, в котором круто и как-то нереально сказочно разворачивался во внезапно вспыхнувших огнях уже такой далекий и отстраненный от нас город.

Мы вышли на корму.

Со всех сторон окружала нас вода. Мы были на середине реки, на самом ее стрежне под открытым небом, спрятанные от глаз людских, но видящие весь город.

Я смотрел на профиль лица Ирины, на шевелимые потоком воздуха ее волосы.

– Ты счастлива? – спросил я.

– Очень, – ответила она.

Я спросил:

– Ты счастлива?

– Да, такого никогда не было! – ответила она.

Я охватил ее лицо ладонями.

– Ты счастлива?

Судорожно, торопливо – помню, – выдернутым из брюк ремнем я стал привязывать дверную ручку, чтобы ее невозможно было повернуть, а Ирина, балансируя – плавно покачивало, – раздевалась. И я увидел ее стройную фигуру, одновременно и светлеющую и темнеющую в полутьме, и за ней, так невероятно обрисованной невидимыми лучами, в брызгах мчалась вода и клочкотал пенный бурун.

Берега опрокинулись. Все потеряло очертания и земные имена.

Нас больше не было здесь.

Река вернулась к нам вместе с гулкой пустотой проносащегося над нами моста. Ребристый свод, словно крыло гигантской ветряной мельницы, стремительно развернулся в воздухе, и я увидел небо. Оно еще хранило в себе отблески заката, но обрело холодную глубину. Еще множество очень красивых перистых облаков увидел я. Волнистые, с кроваво-бирюзовыми просветами, они составляли сплошной фронт, острым клином прорезавший высоту.

Мы лежали на спинах, на большом деревянном ящике, в утробе которого дребезжали пустые ведра. И, прикоснувшись пальцами к руке Ирины, я ощутил, как ветер выбил на ее коже крупные мурашки.

– Что это было? – спросила она, не поднимая век.

– Мост, – ответил я.

Вдруг я осознал: если с далеких набережных нас не было видно, то сверху с моста были хорошо различимы на корме этого угрюмого судна, в темной рубке которого у штурвального колеса находились лишь капитан и матрос, наши обнаженные тела.

Мне стало жарко.

«Сейчас переступлю черту!» – понял я и, слыша, как слова уже отделяются от моих губ, проговорил:

– Я люблю тебя!

Она молчала.

Потом веки ее дрогнули.

Она склонилась надо мной...

И я увидел ее глаза.

Они ослепительно шумели в густом сумраке.

А мимо скользили берега. Белые яхты, дебаркадеры, старые буксиры в глухих затонах, пришвартованные друг к другу военные катера...

Наконец все исчезло. Мы как бы повисли в воздухе между множеством остроконечных облаков, озаренных изнутри огнем, и зеркальной и тоже далекой под нами водой.

И когда это произошло, меня охватило странное – я сразу понял, – очень важное чувство, суть которого я не успел разгадать.

Не разрывая наших объятий, глядели мы на произошедшую перемену, пока не сообразили, что теплоход, оставив устье реки, вышел в залив.

И сейчас же он стал разворачиваться. Палуба под нами задрожала, поток от винта, работающего на задний ход, взбурлил, и все пространство вокруг кормы покрылось мелкими, быстро передвигающимися водоворотами.

Мы ощутимо стукнулись бортом о причал, в рубке последовала крепкая ругань, стукнулись еще раз... И сразу настала тишина, в которой хлопко зазвучал фонтанчик воды, выливающейся из какого-то отверстия в борту судна.

– Скорее! – прошептала Ирина.

Застежки и молнии наших одежд затрещали у нас в руках.

– Я надену тебе туфли, – сказал я.

Опустившись на колени перед нею, сидящей на деревянном ящике, я взял ступни ее ног в ладони – ступни были холодными, а мои ладони горячими, – и крепко прижал их к своему лицу. А потом стал аккуратно надевать на них эти поношенные, когда-то дорогие австрийские туфли на высоком каблуке, не единожды подкованные и заклеенные отечественными сапожниками.

Она не противилась моему желанию, но наблюдала за моими движениями с изумлением, и лицо ее при этом было светло.

Мы шли через темный приморский парк.

Далеко, но очень ясно слышалась музыка. Отчетливы были и голоса людей, таинственные фигуры которых блуждали в аллеях.

Мы свернули в сторону стадиона и побрели по высокой влажной траве, сразу же промочив ноги.

После шума и суеты города с его угарным воздухом, насыщенным парами бензина, после той невыносимой вечности, которую ощутили мы на теплоходе, когда летели среди зеркальной воды и застывших в небе облаков, здесь все было полно жизнью земной, трепетной, способной и расцветать, и увядать. Эта жизнь была во внезапном шелесте деревьев, в черных переплетениях веток, в шорохах, в дуновениях ветра, в далекой музыке, почему-то до слез печальной, несмотря на веселый танцевальный ритм, и в голосах людей. Мы вдыхали ее вместе с сыростью мокрых листьев.

Стоял в центре площади на каменном пьедестале чугунный истукан, когда-то любивший красивых актрис и чужих жен и так нелепо застреленный в собственной цитадели завистливым мужем.

Мы обогнули площадь, чтобы остаться незамеченными, и по множеству лестниц, переносящих нас с яруса на ярус, взойшли на верхнюю площадку стадиона.

Овальный кратер безмолвствовал под нами. На его далеком дне неясно светлело пустое футбольное поле.

Не касаясь друг друга, мы сели на два пластиковых кресла. Их ступенчатые ряды ровными параллелями уносились в ночной сумрак и, завершив кольцо, вновь возвращались к нам.

И вдруг я почувствовал, что сейчас, в эту минуту, кто-то вручил мне право на жизнь другого человека, право на его дыхание.

Этой доверяемой мне человеческой жизнью была жизнь Ирины.

Не глядя на меня, она тихо сказала:

– Я буду с тобой всегда.

А я понял, что значило то мгновенное и сильное чувство, которое мы испытали, когда теплоход вышел в залив на широкую воду. Чувство это значило: когда настанет срок и мы умрем – это будет так же безболезненно, а может быть, и так же прекрасно, как если мы выйдем из реки в море. Изменится только пейзаж. А мы останемся. Мы поплывем дальше, к другому берегу, ведь море не бывает безбрежным.

Среди звезд через небосвод ползла тонкая серебристая стрела инверсионного следа от не видимого и не слышимого нами самолета. Она ярко мерцала на синем ночном небе, так как шар Солнца, провалившийся за шар Земли, еще подсвечивал этот след из-за горизонта.

2. В ту пору

Я начал с середины.

Я заранее предчувствовал: если попытаюсь выстроить те события в единую цепь, непременно начну с середины, с того, как в окружении рукотворного мира цивилизации с его удивительными линиями и формами мы сидели рядом, одни, и над нами тоже нереально, тоже фантастически текла, нарастая, тонкая струя света от металлической птицы, дышавшей раскаленным газом и мчащейся в поднебесье со смертельной для любого живого существа скоростью...

Все это впечаталось в память при случайном взгляде на блеск отражателя ламп на мачте освещения, жесткий и агрессивный в темноте.

Человеческое сердце обладает способностью единожды взять высочайшую ноту. И запомнить ее. Эта нота – то главное, что никак нельзя изъять из жизни и ради чего, быть может, дана и вся жизнь. Она – вершина, с которой позволено обозреть сразу всю жизнь от края до края. И убедиться, что край жизни не есть ее конец.

Мне временами чудится, что наше прошлое не удаляется от нас, не исчезает и не гаснет, но существует рядом с нами и по-прежнему оживлено лицами, взглядами, голосами. Оно стало невидимым, прозрачным, но оно здесь и сейчас, им заполнен воздух. А память – лишь путь, по которому мы входим в наше прошлое. Она столь невероятна, что благодаря ей мы способны войти в любой его уголок, посетить любой тайник.

И хлынет ветер – не сыщешь следов его! И вздуется небо, не видимое с Земли ни одним оком!

Мы – там, где уже были. Мы видим пейзажи, которых давно нет, ибо изменились они, как изменились наши лица, – время прошло сквозь них, время прошло сквозь нас! Мы блуждаем по тем давнишним дорогам, посещаем те города, поднимаемся по тем лестницам, сидим в тех кафе, трогаем те вещи, набираем номера тех телефонов, гоняем на автомашинах, давно ставших ломом, любим людей, после которых смогли полюбить других. Мы возвратились в прежние сюжеты, авторами которых тогда были, чтобы произнести те же слова. Но нет! Мы не возвратились туда. Мы живем заново. И будущее у нас впереди. Это – наслаждение: на легких ногах, имея от роду восемь лет, звонко стуча голыми пятками по мокрой земле, промчаться вдоль сверкающего белыми, желтыми, синими цветами поля, вдыхая холодный дождевой воздух. И ступня вспомнит каждую уцербинку на дороге, острый камешек, причинивший пальцу такую жгучую боль!

Неужели возможно было запомнить столько? И с тех пор иметь в себе! Разве так вместителен человек?

Собственно, что несем мы на суд Божий? Несем свою земную жизнь, которая с момента нашей смерти вся становится для нас прошлым. Эта прожитая жизнь и есть главная ценность, ради которой мы страдали, мучились, переносили боль, но и радовались, искали истину, были, наконец, счастливы.

В ту пору...

В ту пору я тяготел к вере в невидимый мир. Его таинство влекло меня, как завлекает человека бездонная пропасть, как зовет в свои недра пасть чудовища, готового поглотить всю вселенную. Какой он? Какие пейзажи таит в себе? Как выглядит жизнь, нами теперь не зримая? Существует ли там, откуда никто не вернулся, сознание? И главное, перетекут ли в страну бессмертия наши переживания, наши голоса и лица или будут навсегда стерты? Смерть вокруг себя я видел не раз; она смотрела на меня отовсюду, но я никогда не чувствовал ее в себе. Бессмертие, напротив, не видел ни разу, но постоянно в себе ощущал. Что такое общение с Богом, я не знал. И личность Бога не представлял абсолютно. Но в вихрях воображения

искал встречи с какою-то высшей силой. Все правящие земные силы меня не прельщали. Мне виделась в них неисправимая ущербность. Конечно, весь этот мир имел ущерб. И сам я был ущербен. Но именно потому моим руководителем должна была стать самая совершенная, не знающая ущерба сила.

Более всего меня интересовало будущее. Будущее – не как научная футурология, когда ученый делает прогноз на десять или даже на сто лет. Прогноз меня не устраивал. Прогноз мог оказаться ошибочным, и он всегда охватывал какой-то период. Ни один период не мог удовлетворить меня, потому что являлся только фрагментом целого. Мне нужна была *вся* картина. *Все* полотно. Я твердо был уверен, что где-то в ином измерении находится сокрытая от наших глаз полная картина бытия человечества – от его начала до его конца. И как существует на ней наше прошлое, так существует и будущее.

Для чего мне это было надо?

Я хотел взглянуть на эту картину не для того, чтобы увидеть там войну, революцию, экологическую катастрофу, перекройку государственных границ и прочее, что могло интересовать мой разум, как человека, изучавшего историю. Но для того, чтобы понять: моя душа – бесконечность, вмещающая *все* бытие? Или я – животное, *homo sapiens*, из семейства гоминид в отряде приматов, чуть повыше среднего роста, с серыми глазами и ранней сединой в волосах, один из многих точно таких же живых существ, каких легионы и легионы: родился, пожил и умер? А след останется? И я ли буду этот оставленный след или это будет только сам след, как кровавое пятнышко от убитого комара, как обломок скелета динозавра? Задам вопрос иначе: я действительно свободен в своих чувствах, мыслях и поступках и именно в этом мое подобие Богу или я иголка в Его руке, которой Он вышивает Свои узоры, и лишь для этого я создан?

Кто мы? Куда мы идем? Зачем рождаемся?

С раннего возраста я слышал разговоры о деньгах, несправедливости государства, плохих начальниках и дурных соседях, наконец, о погоде и здоровье. Нескончаемые жалобы, поиски виновных. Но «Зачем мы живем? С какой целью заселили планету?» – никто не спрашивал. Словно такого вопроса не могло существовать вообще. И поначалу это удивляло меня. Я заболел им уже в детстве, еще не умея его сформулировать. Он был как духовный мираж, не имеющий земных очертаний. Это был даже не вопрос, выраженный в словах, а некое чарующее чувство, которое меня наполняло и которое устремлялось к чему-то величайшему и, главное, перешагивало смерть. Смерть человека я впервые увидел ребенком, когда еще не ходил в школу. В тот день она слилась в моем сознании с видом спелого яблока, лежащего на ладони. Как символ! Конечно, все это были лишь движения неопытной души, пытающейся разгадать загадку. И в этих движениях, несомненно, были и радость, и азарт. Во всяком случае, в отрочестве это чувство не исчезло. А в юности поглотило меня целиком. Однако с кем бы я ни заговаривал, желая поделиться своими мыслями и найти родственную душу, на меня смотрели лишь с недоумением и даже враждебно. «Зачем тебе это? Это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Выкинь эту дурь из башки и займись собой! Не теряй времени зря!» – отвечали мне. А на флоте, на противолодочном корабле, мичман Петров, дохлебывая пиво и стуча вяленой воблой по краю стола, высказался еще ярче: «Когда коту делать нечего, он яйца лижет!» Помню, меня восхитил эпизод из «Братьев Карамазовых» Достоевского, в котором отрок Смердяков спросил Григория: «А откуда же свет сиял в первый день творения, если Бог создал Солнце только на четвертый день?» – «А вот откуда!» – ответил Григорий и неистово ударил его по лицу.

И я приготовился к пощечинам.

В ту пору я не был даже в самом начале своего пути. Но воображению моему уже открывалось нечто огненное и безмолвное. Мгновениями оно взрывалось передо мной, как сверхновая звезда, приводя мое сердце в восторг, и теперь нужна была только гениальность, чтобы перевести неземной язык того сияния в земные слова. Параллельно с изучением истории я зани-

мался астрономией, философией, религиями и оккультизмом. Библию мне привезли из Новгорода. Это была старинная Библия 1896 года с пожелтевшими страницами, тяжелая, крепкая, в сафьяновом переплете. Были у меня сочинения Златоуста, Брянчанинова и Блаженный Августин – тоже дореволюционные издания. Были книги по буддизму. Китайские мыслители. Рядом с ними стояли томики Канта, Ницше и Шопенгауэра. И даже «Хиромантия» Дебаролля. От старых книг, которые я покупал либо в церковных лавках, либо на черном книжном рынке, тратя на это практически все свои деньги, веяло чем-то таинственным, мистическим, что заставляло разум трепетать. С надеждой и страхом искал я на своей ладони линию славы. Она подтвердила бы, что именно мне будет позволено увидеть то, что утаено от других.

Была и еще одна причина в желании проникнуть в этот сокрытый мир. Если то, что я предчувствовал, предугадывал, было на самом деле и существовала где-то полная картина судьбы всего человечества от начала этой судьбы до ее конца, то это, безусловно, доказывало бы, что история – драма, художественное произведение, созданное какой-то высочайше стоящей над нами творческой личностью. А с личностью возможно общение.

Впереди для этого была целая жизнь.

А потому пора сказать о другом: мне было тогда двадцать семь лет, я учился в университете на историческом факультете, работал кочегаром в одной из городских котельных, чтобы обеспечить себя деньгами, и жил в своей собственной комнате один.

В эту комнату я мог *приводить*.

И вот это было самым главным для меня. Каким-то яростным пламенем, однажды опалившим мое сердце, всей раскаленной сущностью этого пламени я ощущал, я чувствовал, что именно женщина и бессмертие связаны воедино. Как? Не знаю. Но ничего равного женщине на земле нет. Для меня это было бесспорно. Ни богатство, ни власть, ни положение в обществе, ни слава не имели такой силы. Только тайна женщины равнялась тайне звездного неба.

Я начал с середины, с пустого, будто взятого из фантастического видения стадиона, на холодных пластмассовых креслах которого мы сидели с Ириной рядом. Память возвращает события не в их хронологической последовательности и даже не по степени их яркости, а по иным, не ведомым нам причинам.

И сейчас красивый дом на одной из центральных улиц Петербурга-Ленинграда востребует меня в свое нутро. Я окажусь в нем в тот болезненный момент моей жизни, когда я прощался с ним, как мне думалось, навсегда. Сейчас с внешним спокойствием я выйду из просторной и хорошо обставленной квартиры с множеством фотографий сцен из балетов, развешанных в рамках и без рамок по стенам во всех трех комнатах и даже в небольшом коридорчике, фотографий, на которых запечатлена одна и та же женщина в белых или черных балетных пачках, в прозрачных газовых юбках, в звездных плащах и венчиках, в репетиционных гамашах, с высоко поднятой ногой, на пуантах, в прыжке, совсем юная с цветами в руках, усталая за столиком в грим-уборной, рядом со знаменитым маэстро – коллективное фото; я молча, не оборачиваясь, выплыву из этой большой квартиры с китайскими фонариками в углах, дорогой японской звуковоспроизводящей аппаратурой, сувенирами из Норвегии и Италии и, наконец, самой этой женщиной, в действительности не такой сказочной, как на фотографиях, не сильфидой, не принцессой, не феей, но стоящей сейчас за моей спиной – я это знаю – со злым обиженным лицом и усмешкой на губах: «Я найду и более достойного, а ты потеряешь многое!», и с мгновенно проявившимися у глаз морщинами и возле губ складками, выказавшими то, что так старательно упрятывалось под красивые платья и французскую косметику: сорок! Впрочем, она очень скоро сдержала свое слово: им оказался пятидесятилетний чиновник из партийных, тоже, как и она, истасканный и болезненный, тоже пользовавшийся лекарствами, косметикой и услугами массажистов, и думаю, этот скоропалительный брак был математически рассчитанным обменом ее увядающей красоты на его прочное

положение в обществе, достаток и связи. Много позже я пойму, что это было отчаяние. Но это случится много позже.

А сейчас она затворит за мной дверь своей квартиры, где все это останется для меня позади как в пространственном, так и временном измерении, свет из-за моей спины, дающий на противоположную стену мой гигантский силуэт, сожмется в узкую черту, исчезнет со щелчком дверного замка, и в беззвучии, которое тем усилится, что мне подробно будут слышны ее удаляющиеся по коридору шаги, я окажусь на темной лестничной клетке, где электрические лампочки были вывинчены из патронов почти на всех площадках и растащены жильцами по квартирам, и начну медленно, отыскивая ногами ступени, держась рукой за пыльные перила, за которыми дышал сквозняком прямоугольный провал, спускаться вниз.

С этого и начну.

3. Спускаясь по лестнице

Свободен для новой жизни!

Мне хотелось быстрее уйти от ее квартиры, удалиться от нее сколь возможно дальше; слабая и все же живая ниточка еще продолжала связывать меня с нею, последняя, тончайшая, но я знал – как только окажусь во дворе, ниточка лопнет.

Я спешил. И с каждым следующим пройденным мной лестничным маршем радостное чувство освобождения от этой женщины росло во мне. Как будто лестница, которая сотни раз поднимала меня поздними вечерами на самый последний этаж ее дома, и опустошенного и усталого, но все равно не насыщенного впечатлениями – всегда не хватало какой-то малости, – снова низводила вниз и отпускала на свободу в промозглую хмурую осень утра с мокрыми тротуарами и седой, вздувшейся меж берегов рекой или в ослепительное буйство поздней весны, что было в такой момент упадка духовных и физических сил невыносимее любого ненастья; так вот, как будто эта лестница еще принадлежала потоку ее жизни, а двор и улица за подворотней были уже всеобщими, и я старался поскорее выгрести из этого потока, в котором плыл вместе с нею целых два года.

Юлия – так ее звали, и так она представилась мне в сонно-душный июньский полдень.

Одной рукой ведя машину, другой она пожала мою руку и в бесконечно долгий момент соприкосновения наших рук, как бы открывая свои мысли в пристальном косом взгляде, глубоко посмотрела в мои глаза, совершенно при этом не беспокоясь, что мы мчимся по запаруженной машинами городской улице.

У нее был маленький, но мощный автомобильчик фирмы «Форд», доставшийся ей от ее бывшего, как я потом узнал, третьего по счету мужа, невысокого ранга дипломата, с которым она разошлась несколько лет назад. При разводе она отдала ему дорогие старинные церковные книги – ее покойный дед имел сан и преподавал в духовной академии, но выторговала себе автомобильчик, потому что была страстная автомобилистка, машиной управляла виртуозно и на сумасшедших скоростях. Сидя рядом с ней на переднем сиденье, я не раз испытывал чувство страха, ибо она вылетала на поворот на загородном шоссе, держа на спидометре сто тридцать километров в час. Конечно, для американских автострад это пустяк, но для расхлябанных российских дорог, где из-под колес пулями летят камешки гравия и где в любом месте из проселка вдруг может выкатить трактор, управляемый абсолютно пьяным трактористом, это риск непомерный. В конце концов, могут подвести даже не умение управлять машиной и не сама машина, а покрытие дороги, которое непредсказуемо. Я был твердо уверен, что когда-нибудь она разобьется.

Мы познакомились на одной из глухих улиц в районе, близком к торговому морскому порту, где дома неухожены, деревья хилы и воздух душен и чаден. Это была даже не улица, а переулок, совершенно пустой в полуденный час. Она стояла на мостовой рядом со своим «Фордом», глядя на него строго, как на любимую, но непослушную собаку, которая вдруг не захотела выполнить привычную команду, стояла, крепко уперев руки в бока, сверкая черными лакированными туфлями и распахнув легкий черный плащ, под которым серебрилось невероятное для этого сонного переулочка вечернее платье. У ее ног был сильный крутой подъем.

– Вы что-нибудь смыслите в моторах? – спросила она, когда я, проходя мимо, поравнялся с нею.

Ни «Простите!», ни «Могу ли я вас попросить?»

И голосом очень низким, хрипловатым, как бы пропитым.

Бывают привлекательными уродства и пороки. Я бы то же сказал о ее голосе. Он был приманчивым от какой-то внутренней, звучащей в нем порочности. Он привлекал к себе, будо-

ража в душе что-то темное. Такой голос поведет за собой к любым опасностям, в любые дебри. И пойдешь за ним, испытывая счастье от предстоящей гибели.

Я в моторах смыслил.

Закатав рукава, я задрал у «Форда» капот.

И пока я копался в моторе, она все относительно меня решила, потому что для чего тогда вдруг последовавшее предложение подвезти меня до дома – обыкновенного «Спасибо!» было вполне достаточно – и, главное – и в этот момент сердце мое приостановилось, уясняя, блаженство *каких* переживаний ему сулится, – эта фраза: «У вас красивые мужские руки. Редкое сочетание. Красивые и мужские».

Теперь я понимаю: именно я должен был идти тогда по этому переулку и именно она стоять на пустынной мостовой в тот год, в тот день, в тот час. Порочный ум тянется к порочному. Он любит лишь приятно порассуждать о чистоте и невинности. Чистота и невинность – понятия для него философские, литературные, безжизненные. Но тянет его к порочному, и я это притяжение ощутил сразу же, как только увидел ее издали. И полез я копать в этот мощный заокеанский мотор только потому, что более всего на свете мне захотелось побыть рядом с нею, вдохнуть в себя воздух, в котором она стояла, согрешить с нею хотя бы в этом вдохе.

Мы поехали на Васильевский остров, по пути знакомясь друг с другом – что-то об истории, об искусстве, о политике. Ее приятно удивило, что я знаю династии египетских фараонов, работы Гегеля, музыку Моцарта и Бетховена. Но нельзя было не почувствовать, что разговором прикрывается совершенно иное. Это иное не трогало мускулов наших лиц, но изменяло ритм пульсации нашей крови. И чем дольше мы жонглировали словами, тем яснее я понимал, что сейчас моя жизнь резко меняется. Как будто я впервые беру точный курс на главную свою цель. Ибо впервые в мою жизнь входила женщина из другого мира, из другого круга, в ней все было другим, начиная от необычно крутого подъема ноги и звучания голоса и кончая мерцающим вечерним платьем и гоночным «Фордом» – дорогая женщина, не по моим средствам и не по моему положению в обществе. Но если женщина пришла, остальное сбудется!

Вести ее в коммунальную квартиру, где сосед с похмелья может выйти в коридор в ночных трусах, было большим риском.

Однако другого выхода у меня не было.

Проклиная стеснение и смущенность, которые я испытываю всякий раз при общении с красивыми женщинами, я предложил ей зайти ко мне выпить кофе. Это была даже не смущенность, а благоговение. Надо было переступить через благоговение перед красотой. Иначе разве посмел бы я думать то, что я думал!

Она согласилась, но сказала, что не употребляет кофе – сам человек устроен так тонко, что ему для более острого чувствования жизни не нужны возбудители.

– Хорошего чая, – сказала она, – я с удовольствием выпью.

Чай у меня был грузинский, второго сорта, самый дрянной. Но ей понравился вид из моего окна на перекресток. К моему удивлению, она стояла перед стеклом долго и молча.

– В перекрестном движении людей есть какая-то магия, – промолвила она наконец, взглянула на меня вдруг как бы плывущими печальными глазами, мгновенно выпрямилась...

Я же неожиданно почувствовал, что ее красивый, совершенный женский организм очень сильно изношен.

Впрочем, эта изношенность, эта биография борьбы за первенство в человеческой стае, биография переживаний, успеха, любви, страсти, порока, сияния, славы была отражением именно того, закрытого от меня мира обособленной от остального общества элиты, в котором она жила, проекцией того круга, тех забот и возможностей, ощутить которые мне так хотелось, и она сделала ее в моих глазах еще более привлекательной.

«Форд» помчал нас через весь город к ней.

Плоть к плоти, нагие, мы стояли на коленях друг перед другом на толстом ковре, развернутом во всю ширину комнаты.

Комната была темна. Острые языки пламени двух восковых свечей отражались во множестве зеркал, делая комнату бесконечной.

Вибрирующий звук медленно понижался. Мощная акустическая система посылала его из своих недр с упрямой повелительной силой, как бы процеживая сквозь невидимое воздушное препятствие. Я не знал, какой музыкальный инструмент является источником этого одинокого молитвенного звука. Вероятнее всего – древний, индийский.

Юлия протянула мне горящую свечу, другую вознесла перед своим лицом.

Темные глаза ее заворуженно смотрели на пламя. Медная змейка с горячими искрами ядовитых глаз обвивала запястье ее голой мускулистой руки.

«Со мною ли это происходит?» – спросил я себя и сейчас же вспомнил: однажды я уже задавал себе такой вопрос. И тогда это тоже было связано с постижением женщины.

Исподлобья она взглянула на меня.

– Пламя этой свечи – мое тело, мое сердце, мои мысли! – сказала она и придвинула свою свечу к моей. – Пламя твоей свечи – твое тело, твое сердце, твои мысли!

Два пламени слились в одно сильное пламя.

– Вот что сейчас будет! – прошептала она, закрывая глаза, дрожа и вздрагивая.

У меня никогда не было такой женщины.

Я только мечтал о такой.

Она в моих руках.

Я не выпущу ее.

Жемчуг ее волос, сверкая, бьется по поверхности ковра – вокруг ее лица умирают миллионы рыб.

Они задыхаются.

Я задыхаюсь.

Но я не выпущу ее!

Она станет моей, даже если сейчас меня прошьют автоматной очередью! Погибая, истекая кровью, я все равно успею!

Я смотрю в зеркало.

Нет, я ничего не чувствую, ничего не испытываю, я только знаю, что:

У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Вся комната наполнена моим бьющимся сердцем.

Свершается!!! Свершается!!! Свершается!!! Свершается!!! Свершается!!! Свершается!!!

Свер-ши-лось...

Рыбы умерли. Я убил их. Они – мои.

И никто никогда не сможет изъять из моей жизни их мертвого сверкающего блеска.

Избран!

А на рассвете, опаздывая на смену в кочегарку, я шел через цветущее Марсово поле, вдыхая густой драгоценный запах сирени, белыми и лиловыми гроздьями застывшей в утренней тишине.

Медленно вращал вокруг меня Петербург свои мосты, храмы, колоннады, партийные лозунги на стенах зданий.

Я знал совершенно точно: я – великий человек!

И прошло два года.

Два года упали за край жизни и исчезли, сделав прошлое большим, а будущее.... Нет, я еще не чувствовал, что будущее способно уменьшаться. Будущее так и осталось беспредельным.

Но я спускался по лестнице ее дома.

«Я свободен! – говорил я себе и тут же мысленно обращался к ней: – Я свободен от тебя. Я хотел этого. И, уверен, ты тоже хотела. Все, что дано было нам пережить вместе, мы пережили. Наступило похмелье. Расставаться надо вовремя. И еще потому, что все кончается. И это хорошо».

Я уходил отсюда и знал: в моей памяти этот высокий, крепкий, толстостенный дом останется как ее дом. Имя этому дому будет – Юлия.

Удивительной мягкостью и округлостью обладало ее имя. Оно как будто выдувалось губами, приготовленными для легкого поцелуя. И оно совершенно не подходило ей, потому что она была худа, угловата, порывиста, с маленьким, крепким, всегда изможденным лицом, ярко блестящим от кремов. И когда она жесткими пальцами с острыми серебристыми ногтями поигрывала, барабана по подлокотнику кресла, то под натянутой кожей на наружной поверхности ее кисти мелькали сильные прямые жилы. Но главное, у нее были большие темные глаза, а волосы, гладко зачесанные назад и собранные на затылке в узел, переливались светлым блеском жемчуга. Это было особенно красиво, когда она надевала черное. И вот что странно: это гладко-переливчатое имя с тех пор обрело для меня ее образ – оно столь прочно срослось с нею, так вобрало в свое звучание ее сущность, что я не смог бы в дальнейшем представить ни одной женщины, кроме нее, которая носила бы это имя.

Увидев ее танцующую, уже тогда интуитивно я спросил: что здесь от Бога и что от дьявола и может ли божественное проявляться без дьявола? Этот вопрос потом стал для меня основным вопросом всей истории человечества. Но то, что в эту маленькую мускулистую женщину был помещен не просто талант, а гений, не составляло для меня сомнения.

Случалось, она танцевала для меня. Тогда она говорила мне: «Для тебя! Только!» Но я уверен, она танцевала не для меня и не для себя, а когда выступала в концертах – не для зрителей, она танцевала для какого-то духа, демона или ангела, а может быть, и вместе с ним. Она не просто ввергала себя в поток музыки или тишины, она вверяла музыке или тишине свою жизнь. И если в музыке была смерть – умирала и она. Ее тело в такие минуты представляло собой нескончаемое и неповторимое преобразование одних форм в другие.... Впрочем, это было уже не тело, а иная субстанция живой материи, не женщина, не человек, а нечто само в себе существующее и по своим законам живущее.

То, что Юлия не имела такой известности или, лучше сказать, популярности у широкого зрителя, какую имели в свое время знаменитые наши балерины, было недоразумением. Но нет человеческих судеб без недоразумений.

Я знал о ней лишь то, что она ушла из академического театра после какого-то скандала и с тех пор выступала с сольными концертными программами. Ее партнером стал малоизвестный танцовщик по имени Витольд, которого она при мне всегда называла Кисой. Когда она представила нас друг другу, я поначалу подумал, что он лет на пятнадцать моложе ее, – гладкая кожа его лица словно не ведала прикосновения бритвы, а голос был грудным и тихим. Но оказалось, что они с Юлией почти одного возраста. Думаю, он держался за нее по двум причинам: во-первых, не обладая никаким особенным даром, он мог поставить свою фамилию рядом с ее фамилией на одной афише и такими же крупными буквами, во-вторых, выступая с нею, он прилично зарабатывал. Киса-Витольд имел чудесной красоты атлетическое тело – живой Аполлон! – но оно казалось странно неподходящим к его женственному лицу и мягкому голосу. Он вообще был какой-то податливый, предупредительный, текучий, утонченно аккуратный в одежде и в быту, никогда я не слышал от него не только бранного, но грубого слова. Руку для рукопожатия он подавал с расслабленной кистью, как девственница, так что я поспешно пред-

положил, что он либо «голубой», либо садист, но... Все мы подвержены штампам массовой культуры; в один прекрасный день я узнал, что он замечательный семьянин и нежный отец. У него было двое сыновей-близнецов, и он все время что-то покупал для своего дома и для великолепной дачи – старинную мебель, антиквариат, декоративный фарфор, ковры, хозяйственный инвентарь, химические удобрения, облицовочную плитку, доски, цемент, сантехнику... Вместе с Юлией я не раз бывал у него за городом. Помню, больше часа – и как сияло при этом его лицо! – он показывал мне свои владения, свой маленький храм-дворец-замок-мастерскую, ибо здесь были и башенка с флюгером, и колонны, и балкон, и разноцветный витраж на веранде, и комната с иконостасом, и пристроечка, где стояли верстак и токарный станок по дереву. Он показал мне также туалет, гараж, погреб, детскую площадку с различными спортивными снарядами и парник, в котором у него летом вызревал урожай помидоров, но более всего меня удивила чеканка по меди, развешанная на стенах. Чеканка, выполненная с большим вкусом. И, к моему удивлению, оказалось, что это его работы.

Мое появление в квартире Юлии Киса-Витольд воспринял очень естественно, без недоумений и расспросов, как событие само собой разумеющееся, и сразу стал относиться ко мне так, будто я был хозяин этого дома, а он, Киса-Витольд, – в нем гость, из чего я сделал вывод, что я для него *очередной*.

Отношения между мужчиной и женщиной всегда имеют свой внешний круг, который видят все окружающие их люди, внутренний круг, который знают лишь эти двое, и тайну, которую каждый имеет в себе, и один не ведает тайны другого. Внешний круг наших отношений с Юлией состоял из походов в театры, на выставки живописи, гуляний по городу, разговоров об истории и философии, поездок на «Форде» и совместных обедов с Кисой-Витольдом, его женой и детьми. Внутренний круг слагался из бесчисленных соитий – и здесь наша выдумка не знала границ. Мы творили их везде: на полу комнаты под увертюры Рихарда Вагнера, на крыше ее дома, придерживаясь за стержень телевизионной антенны, на песке городского пляжа под громадой стены Петропавловской крепости, на середине железного моста через Неву, на его центральном пролете, прижавшись к чугунным перилам и закутавшись в шубу Юлии, а в сотне метрах от нас ходил ночной милиционер, охранявший мост, и изредка поглядывал на нас – самые волнующие моменты! – очевидно думая, что мы только целуемся. Помню, однажды мы сидели в наполненной теплой водой ванне в совершеннейшей глухой темноте, как два доисторических земноводных существа, и помню еще – после тьмы я прошел в комнату и увидел за окном... день. Внизу во дворе двое мужчин тащили на руках домашний холодильник, который в горизонтальном положении сверху напоминал мраморный саркофаг. И глядя на занавешенное напротив меня чужое окно, я вдруг подумал: «Что, если и там сейчас происходит такое же?» Тайну Юлии я раскрыл – во всяком случае, в то время я так считал: тайна ее заключалась в том, что ее гений питался энергией этих слияний. Часто она просила меня прийти к ней на концерт, и мы, запершись в ее грим-уборной – Юлия в серебристых балетных туфлях, в разноцветном сверкающем костюме, в гриме, с золотой короной на волосах! – совершали наше священнодействие перед самым ее выходом на сцену. Моя же тайна заключалась в том, что я *не любил* Юлию. Я это понял очень скоро.

И день настал!

Ты удаляешься от меня, Юлия. Я это вижу со стороны. Взгляд твоих глаз уже не соприкасается со взглядом моих – твои глаза смотрят мимо меня. И затемняются жесты твоих рук, и обретают мертвую неподвижность твои доверенные мне воспоминания и мои прежние мечты о будущем.

Что-то завершилось, чтобы перестать быть.

Лестница устремлена вверх, но я спускаюсь вниз, туда, где замкнутое пространство разомкнется.

Говорят, человек двойственен. Это было бы ужасным упрощением сущности человека. Человек состоит из тысяч образов, в которые он в ту или иную минуту своей жизни вырастает сначала по наитию, а потом, набравшись опыта, по своему желанию. Я сказал бы даже, что способность постоянно вырастать в разные образы в зависимости от ситуации или от душевного настроя есть главное свойство богоподобного человека. Именно она выдает в нем художника, творца, вновь и вновь подтверждая, что жизнь – это драма, и осуществляется она не по законам физики и химии, а по высочайшим предначертаниям. Заниматься срыванием этих масок, чтобы узнать, каков человек в глубинном, тайном и сокровенном пределе своем, – бессмысленно. Он таков и есть: тысячелик, множественный. Но бывают моменты, когда вдруг рассыпаются все образы и остается как некое сверкающее и уже далее не делимое ядро либо любовь, либо страх.

В поздний час длинной февральской ночи, когда за окном творилось светопреставление, вызванное северо-западным штормовым ветром, Юлия, озаренная живым светом горячей свечи, закрыв глаза и напряженно изгибая себя в йоговской асане под древнюю индийскую музыку, случайным движением руки разбила зеркало.

Когда послышался звон стекла, она застыла в той позе, в которой он ее застиг, потом кинулась к стене, треская ладонью по выключателям, зажгла весь верхний свет, позабыв о музыке, мне, обо всем, к чему она только что готовилась, присела над осколками и после долгого молчания сказала глухим, уробным, неведомым мне голосом:

– Это все надо выбросить в проточную воду. В Неву. Немедленно!

Казненная светом пяти ярких ламп свеча тихо трещала. Ее потрескивание было слышно даже на фоне боя восточных барабанов. Свеча вдруг сделалась чем-то инородным в ярко освещенной комнате. И на плечах женщины, на ее спине, коленных сгибах лежал синеватый отлив, и никогда не кормившие младенца крохотные пустые груди свисали на ее ребра, как уродливый и ненужный придаток к ее красивейшему телу...

Разбитое зеркало было к смерти.

Мы лихорадочно оделись и не вышли, а вылетели в снежную бурю.

Нева оказалась замерзшей совершенно.

– Пойдем к Фонтанке! – сказал я. – Места, где выведены канализационные трубы, обычно не замерзают.

Короткими перебежками мы двинулись под стенами домов мимо занесенных снегом легковых автомобилей, остывших, безжизненных, среди которых сурово возвышался с огромным позади себя прицепом гигантский финский фургон. С удивлением я отметил, что в пределы нашего зрения не попало ни одно живое существо. Хотя чему было удивляться! Но когда рядом с тобой торопливо шагает дрожащий от вселенского ужаса человек и ты слышишь его учащенное дыхание, то и сам ты, окруженный совершенно пустым и как бы вымершим городом, начинаешь подумывать о себе: а не сумасшедший ли и я с этим жалким полиэтиленовым мешком в руке, в котором в вафельное полотенце завернуты осколки разбитого зеркала? Куда я бегу сквозь снег и ветер с этой обезумевшей от страха сорокалетней женщиной, еще двадцать минут назад на персидском ковре в йоговских асанах приготавливавшей себя к сладострастию?

Невдалеке от Аничкова моста на середине затянутой льдом реки поднимался пар. По наклонному спуску мы быстро сошли вниз. Но надо было и вправду лишиться последнего разума, чтобы шагнуть на этот хрупкий подтаявший лед.

Молча смотрели мы на далекую полынью.

– В нашей семье, – тихо заговорила Юлия, – эта примета оправдывалась трижды. Три раза билось зеркало, и три раза следовали похороны. Мама, отец, брат. Значит, настала моя очередь. Над каждым человеком довлеет какой-то знак. Бессмысленно бежать от судьбы.

– Ты действительно веришь, что, если осколки сразу же бросить в проточную воду, знак сотрется? – спросил я.

– Да, – ответила она. – Бегущая вода очищает.

Ссутулившись – ни разу не видел я прежде ее такой подавленной и беспомощной, – сунув руки в карманы своей дорогой просторной шубы, она медленно пошла по спуску вверх.

Никогда не забуду, как она шла.

Я не стал ее окликать. Я глубоко вдохнул в себя холодный воздух и спустился на лед.

Честно признаюсь, я решил сделать это не из жалости и сострадания к ней и не для того, чтобы показать себя шальным храбрецом, но мне вдруг захотелось – и так сильно! – проверить, действительно ли я нахожусь под вниманием той безграничной потусторонней силы, существование которой я предчувствовал, и я нужен этой силе, ценен для нее или это тоже миф, как бессмертие души за гробом или влияние разбитого зеркала на судьбу человека. И если я нахожусь под ее вниманием, если я для нее ценен, то будет ли она сейчас обо мне заботиться?

Поступок безрассудный, мальчишеский, просто глупый, учитывая, что человека, который проваливается под лед на реке, спасти невозможно – его мгновенно уносит течением под ледяной панцирь. Даже если он успеет ухватиться за кромку полыньи, то и в этом случае никаких шансов выбраться нет: отяжеленное намокшей одеждой тело принимает горизонтальное положение, изменить которое человеку не под силу.

Я шел медленно, везя подошвы меховых сапог по заснеженной плоскости льда и широко расставив руки в стороны. Я сделал шагов двадцать, но мне почудилось, что спасительная береговая линия осталась в какой-то другой, уже не принадлежащей мне жизни. Как ни удивительно, ни в туловище, ни в голове страха не было; он весь тяжелел в кистях расставленных рук. Юлия что-то кричала мне, но я не оборачивался.

Хруст раздался внезапно.

Я мгновенно присел, словно сверху на меня надавила вся небесная твердь.

Трещина прошла метрах в двух справа.

Я лег на живот и пополз. Думал я об одном: каков по фактуре будет звук лопающегося подо мной льда и каково будет первое огненное ощущение ледяной воды, которая уже совсем близко парила в полынье и от этого казалась горячей. Пар тут же срывало ветром и вместе со снегом уносило по льду в сторону темных арок моста, над которым сквозь метель вставляли на дыбы силуэты бронзовых коней.

Наконец черная дыра рядом. Мешок с осколками, блеснув в воздухе, мгновенно ушел под воду.

И вот тут, при виде того, как беззвучно и легко он провалился в черноту, меня охватил чудовищный страх. Я вдруг услышал, как под моим животом, под раскинутыми на льду ногами и руками звенит та самая черная вода, и понял, что мне ни за что не развернуться.

Тошнота стеснила мое дыхание. Весь пустой город каждым туннелем, каждой кровлей слышал удары моего сердца. Это была паника.

«Вранье! – подумал я с какой-то злой брезгливостью и к самому себе и к пульсирующему подо мной ледяному полю. – Не может мой конец быть таким пошлым!»

И эта брезгливость спасла меня.

Осторожно я повернулся на бок и, переворачиваясь через спину, слыша, как позади меня с хрустом ломается лед и всплескивает вода, стал стремительно откатываться от полыньи, очень больно разбив колено об острый ледяной выступ.

Вдруг я наткнулся на что-то мягкое, темное.

Юлия стояла на льду у берега.

А потом под руку мы шли безлюдным ночным городом. Мимо цилиндрического здания цирка – дрессировщица в позе бандерши возлежала на спинах оранжевых тигров; мимо Инженерного замка, за тяжелыми стенами которого все еще сипел, прерываясь, последний хрип удушья императора; мы прошли мимо его смерти, оставили ее позади, все такую же живую, продолжающую обитать в этом замке...

Юлия остановила меня:

– Подожди!

Взяла кисти моих рук в свои холодные пальцы.

– Подожди, не торопись! – промолвила она снова. – Я хочу посмотреть на тебя.

Темными трепещущими глазами она оглядывала мое лицо, скользя взглядом по моим губам, глазам, лбу.

А я чувствовал, как легки, как неприятно воздушны мои ноги, отягощенные лишь горячей болью в колене, улыбался улыбкой идиота и знал, что все кончено. То есть совершенно кончено.

И только одно мне было непонятно, одно я никак не мог уяснить себе, мучительно ощущая на своем лице эту идиотическую улыбку: возможно ли все произошедшее оправдать чем-нибудь иным, кроме как затмением рассудка, или же это результат моей полной духовной пустоты? Ведь не было никакой высшей цели. Никто не погибал. Но я полз по льду, который трещал и заливался поверх белого снега темной водой. Менее получаса назад меня могло не стать. Все то, что она сейчас оглядывает влюбленными глазами, и все то, что я называю «Я», могло уже перестать быть. И в эту минуту вода подо льдом несла, тащила, разворачивала бы мой труп в этих самых меховых сапогах, легкой куртке и с этими самыми часами на руке – давний подарок мамы, которые, безусловно, продолжали бы идти, ибо о них было сказано в инструкции «пылевлагонепроницаемые». Мимо опор мостов! Сквозь зловонные стоки канализации! Какая пошлейшая бездарность! Неужели и вся моя жизнь пройдет так бесславно?

А дальше произошло вот что: мы не расстались. Я продолжал, как и прежде, приходить к ней и у нее оставаться. Зачем я это делал? Только ли оттого, что люди срастаются уже самым соприкосновением судеб, сознавая в глубине души, что всякое соприкосновение судеб не случайно? Я не могу ответить на этот вопрос. Но, помню, у меня все время было ощущение, что я с кем-то борюсь. Мне казалось: я борюсь с ней. Разумеется, это было не так. Но вот тогда-то и начался настоящий разврат, потому что разврат – действие духовное. И начал его я! Тогда-то сошелся я с совершенно противоположной ей и по положению в обществе, и по духу, и по облику женщиной – я специально так подобрал ее, – молодой парикмахершей, полненькой, мягкой, гладкой, с округлыми плечами и коленями, любившей сладкое и популярные песенки. И приходил я к Юлии сразу после встречи с той полненькой и мягкой, чтобы понять, что именно обжигает в этой противоположности. В чем главная нота? Иной голос, иной запах, иной взгляд? Первые недели это ощущалось очень ярко. Особенно оттого, что Юлия ни о чем не догадывалась. А потом разом погасло, и я остался ни с чем. В сущности, это было таким же разбитым зеркалом, такой же мистерией, которую просто требовалось доиграть до занавеса. Семь месяцев ушло на доигрывание. Даже со своей случайной женой я разошелся куда быстрее и легче.

Но теперь я спускаюсь по лестнице вниз. Как только я выйду во двор, последняя нить лопнет. Я это знаю наверняка.

Я хочу освободиться. И не только от тебя, Юлия. Я хочу освободиться от всей теперешней своей жизни. Она не та, какую я хотел бы вести. Она мешает мне двинуться вперед, выйти за предел очерченного круга, где меня ожидает... Да! Великое и прекрасное! Я уже предчувствую его. Ты была лишь ступенью на пути к нему. Важной ступенью. Но мне надо идти вперед. Я давно живу этим предчувствием. Это какое-то радостное и одновременно мучительное напряжение души. И чем дальше, тем оно сильнее. Как будто кто-то зовет меня, подсказывая: «Иди! Я уже близко. Наступает твой час. Оставь прежнее! Прежнее – лишь предтеча моя!»

Вдруг, в одно короткое мгновение, совершая очередной шаг и пробуя в темноте ногой – ступень или ровная площадка, я оказался окружен целым роем голосов, которые зашелестели вокруг меня и сейчас же смолкли. Что послужило толчком к их появлению? Может быть,

секундное ощущение тревожности в ступне ноги, ищущей под собой опору? Этот странный хор, как бы вырванный из тьмы мгновенной вспышкой памяти, был отражением того, что я испытал задолго до знакомства с Юлией.

Задолго до знакомства с Юлией, зимой, темным будничным вечером, по такой же пахнувшей картофельными очистками лестнице я поднимался к себе домой, вернее, в квартиру жены, где мы жили втроем – я, жена и теща. Только дом был постройки не конца девятнадцатого века, а второй половины двадцатого – крупноблочный, серый, бетонный, времен правления Никиты Хрущева и прозванный в народе за безобразный свой вид хрущобным. Я шел по переходной площадке, трогая рукой перила, и неожиданно со звуком скрежетавшего потока воды – работа сливного бачка в уборной (звук проник на лестничную клетку сквозь проем отворенной этажом ниже квартирной двери), – с этим обычным бытовым звуком мне открылась сущность утробы этого многоэтажного дома, зыбкость его стен и дверей. За ними в одинаковых неудобных квартирах ходило, сидело, лежало великое множество одинаковых, забывших о молодости и о том, что есть великое и прекрасное, мужчин в одинаковых линялых пижамах и трикотажных спортивных костюмах и одинаковых, навсегда утративших свежесть и тоже забывших о том, что есть великое и прекрасное, женщин в одинаковых кожаных тапочках на босую ступню и в одинаковых фланелевых халатах – нижняя пуговица не застегнута, задубевшая грязно-оранжевая пятка ужасна, оскорбительна для зрения!.. В одинаковых уборных над одинаковыми унитазами одинаково журчала в сливных бачках вода. Одинаково кричали, смеялись, ссорились, плакали, бесились дети, рожденные для того, чтобы спустя три десятка лет иметь такие же лысые головы, глаза, лишённые блеска, и грязно-оранжевые пятки. Носить такие же пижамы и халаты. Стать наконец не отличимыми от своих родителей, которые к тому времени сделаются не отличимыми от сегодняшних стариков и старух, которые в свою очередь перекочат за черту города на обширные, но тесные кладбища в те самые могилы, из которых – место дорого! – прочный с коваными зубами ковш экскаватора, управляемого усталым и с похмелья безразличным ко всему воздвигнутому вокруг него мирозданию работягой, понимающим в этот момент, что и его ждет такая же участь, извлечет обломки костей тех, кто жил семь десятков лет назад... Одинаково всё одно и то же вещали примитивные телевизоры, и на газовых плитах жарились, шипя и отплеиваясь горячим маслом, яичницы из миллионов одинаковых яиц. А потом, когда опускалась тьма ночи, и куранты со Спасской башни московского кремля, увенчанной символом счастливого будущего всех людей – красной пятиконечной звездой, возвещали из одинаковых репродукторов полночь, и гремел, призывая куда-то немедленно двинуться целым народом торжественный гимн – да здравствует! Да славится! (могучие басы духовых, украшенные сверкающими выстрелами медных тарелок), – казавшийся этому народу самым лучшим, самым прекрасным из всех когда-либо написанных гимнов, и гасли огни, и чмокали во сне дети, еще мечтавшие о парении в небесах, тогда, на самом краю отошедшего дня, наконец-то дождавшись покоя, навсегда утратившие гибкость и красоту завядшие одинаковые женщины и одинаковые обрюзгшие мужчины, преодолевая ломоту в искривленных позвоночниках, дыша в лицо друг другу нечистым запахом пищи, соединялись друг с другом в последней беспомощной попытке все же выхватить у ускользающей жизни хоть мельчайшую крупицу огненного первородного счастья, чтобы понять, что все уже кончилось, погребло, умерло, и в бессловесной и великой тоске заснуть, глотая обиду на судьбу, и во снах видеть то же самое. И никто не знал, для чего нужна такая жизнь. Но как за нее цеплялись! Я помню, в ту выпавшую из общего ряда времени минуту меня вдруг охватили ужас и отчаяние. И еще сильнейшее чувство протеста. Даже не столько оттого, что такая жизнь есть, существует и сам я в ней рожден и в ней плыву, сколько оттого, что за нее цеплялись. И я тоже цеплялся. И мне, двадцатичетырехлетнему крепкому парню с острым зрением, здоровым сердцем, красивой мускулатурой и неутолимой жадой героического и совершенного, было уготовано все то же самое.

«В поте лица своего! Покуда не возвратишься в землю!»

Быт.

Ради рта жующего!

Все это вдруг выросло в моем воображении до масштаба космического.

И я на той затхлой безликой лестнице, одинаковой со всеми остальными такими же безликими бетонными лестницами в этих неисчислимых скорбных домах, поклялся, что я такой жизнью жить не буду.

Да и зачем тогда жизнь, если единственное и неповторимое среди всех народов и в бездонной перспективе столетий лицо твое расплывется, растворится в миллиардном множестве других лиц, а потом навсегда сгинет, став бесформенным прахом? Зачем оно тогда, единственное и неповторимое, было тебе дано? Для тщеславия? Для возможности быть любимым? Чтобы каждой твари по паре? Это вопрос вопросов. Это, быть может, камень преткновения!

То, что вдруг так мгновенно и незримо пронзило меня, словно смертельная атомная радиация, когда моя нога в темноте отыскивала опору, был *испуг*. И сейчас же он прошел. Но в этот момент я успел понять, что ухожу я сейчас не от Юлии и не из этого дома, а от чего-то иного, сильного и опасного для меня, что существовало еще до Юлии, до этого дома, и что как раз именно с помощью Юлии и с помощью этого дома должно было быть побеждено.

4. На набережной

Я вышел во двор, и мне стало легче.

«Хорошо, что обошлось без упреков!» – подумал я, заворачивая из-под арки на освещенную фонарями улицу.

Судьбы разошлись.

Я не любил Юлию.

И дело не в том, что Юлии было сорок лет. Я не смог бы полюбить ее и тогда, когда ей было двадцать. Хотя представляю, как совершенна, как притягательна она была в двадцать, какие тесные стаи мужчин кружили вокруг нее, сколько восторженных взглядов в театре, на улице, в транспорте было остановлено на ней, измерило ее и оценило!

Но я не смог бы полюбить ее даже такую.

Я шел широким сильным шагом, лавируя между прохожими, обгоняя тех, что шли со мной в одном направлении. Что-то торопилось во мне, спешило, подстегивало меня. Я видел впереди перекресток, и мне казалось – я уже на перекрестке; в конце улицы светилась площадь, и, глядя на ее удаленный свет, я испытывал мучение оттого, что еще не достиг ее. Как будто часть моего «Я» нетерпеливо опережала меня.

Но выйдя на площадь, ощутив ее высокий полукруглый простор, множество воздуха, струящегося над нею в лучах прожекторов, я замедлил шаги и остановился.

Великан Ленин смотрел на меня с плоского, высотой в четырехэтажный дом портрета, собранного из прямоугольных фанерных блоков. Пурпурно-черно-белое убранство блещущей вечерней площади окружило меня. Сверкал кумач. Белели лозунги. Перед царским дворцом возвышалась громоздкая, с золоченым государственным гербом правительственная трибуна, мимо которой еще сегодня утром, гудя тяжелыми дизелями, катили свежеевыкрашенные для военного парада танки, остроносые ракеты, маршировали матросы и пехотинцы, а за ними, разделенная на несколько потоков, плыла могучей рекой многосоттысячная демонстрация трудящихся, неся над собой портреты вождей, красные флаги, эмблемы заводов и спортивных обществ.

Я сунул руки в карманы и пошел к Неве, куда двигались со всех сторон толпы горожан на праздничный фейерверк глазеть.

Нет, не оттого, что в течение двух лет ночами ты засыпал, обнимая эту женщину, привык к интонациям ее голоса, жестам, платьям, наконец, к ее жалобам и мечтам, а теперь расстался с нею, как тебе думается, навсегда, сосущая пустота в центре солнечного сплетения. А оттого, что вместе с этой женщиной от тебя уходит часть твоей жизни, и хотя ты и торопишься поскорее оборвать все нити, сжечь все мосты, тем не менее что-то в тебе сознает трагическую невозвратность прожитых лет, некий бесстрастный учетчик, который как бы и не является тобою, а кем-то посторонним в тебе, в глубине твоего мозга фиксирует: «И это пройдено. А было впереди!» Однако ты отвергаешь его приговор. Из опыта тебе известно: внезапное и острое чувство сиротства при расставании с женщиной – недолговечно. Его надо пережить.

Но есть в этом расставании и нечто большее, что будоражит и веселит твое сердце. Внезапно тебе открывается главное: ты обрел свободу не ради самой свободы, но для того, чтобы суметь принять в себя, вместить в себя то новое, что уготовано тебе впереди. Ты хочешь прийти в свое будущее освобожденным, потому что предчувствуешь, знаешь, уверен – там хранится для тебя еще не тронутое тобой, еще не познанное счастье. Ты смотришь в лица встречаемых людей, и не только душа твоя, но и все твое тело, словно оно наконец сбросило с себя тяжкий груз, ощущает это обновление.

Любовь к женщине – вот то великое и прекрасное, чего я ждал. Я был единожды любовью познавший. С той поры, когда хмурым февральским днем на Невском проспекте, потупив

взгляд, Вера сказала мне: «Теперь я пойду. И ты не догоняй меня!» и легко, но твердо оттолкнулась от моей руки, я ждал этой встречи. И сейчас, пересекая Дворцовую площадь, я вдруг ощутил это особенно ярко.

Я не знал, какой будет та, которую буду любить я. Но я твердо верил, что отличу ее от всех остальных, которые *не она*, даже если увижу ее в сумерках или в тесноте переполненного вагона подземки, даже если она не скажет ни одного слова и не посмотрит в мою сторону. Как будто она была некое дыхание, уже давно существующее в этом мире, поток энергии, ветер... И я знал: едва этот ветер коснется меня, я сразу пойму – мы встретились! И тогда я приму все, что будет она. И ничто не будет для меня в ней запретным, темным, но все – открытым и светлым.

Если сказать самую главную правду, ту правду, которой я жил в сердце моем, то женщина, которую буду любить я, давно уже была рядом со мной. Это место в пространстве рядом со мною давно было занято ее образом. И только озаренная таинственным своим именем, от меня доселе сокрытым, живая, телесная, она все не приходила.

Площадь позади меня утонула во тьме.

Я вошел в сад перед Зимним дворцом.

Жестяным блеском вспыхнули тут и там мелкие лужицы. Шум человеческой толпы усилился.

– Брательник, алё! – услышал я негромкий окрик, направленный в мою сторону.

Под блестящими голыми ветвями на садовой скамье сидел военнослужащий в форме десантника. Он сидел, широко расставив ноги и откинувшись могучим корпусом на спинку скамьи. В левой руке он держал, зажимая за горлышко, бутылку вина.

– Ну да! Ты, – мирно сказал он, подтверждая этими односложными словами, что его окрик относился именно ко мне.

Секунду мы всматривались друг в друга.

Он приподнял бутылку перед собой.

– Нет, не буду, – ответил я.

И продолжил путь.

Дохнуло прохладой. Из земных глубин поднялась впереди меня тяжелая черная река. Перекинутый через нее мост отражался в ней огромными дугами иллюминированных пролетов. Все вокруг зернисто мерцало от обилия народа. Глухое небо, как колпак, накрывало город, внушая сознанию горожан: «Самое важное, самое лучшее – здесь!» Лишь далекая на той стороне реки телебашня, обозначенная ровными рядами красных огней, уходила за глухой его предел, и верхние ее этажи были скрыты от зрения.

«Почему я ответил ему “нет”»? – подумал я о десаннике.

Более всего хотелось мне сейчас захмелеть.

Я вернулся.

Зубами десантник откупорил бутылку, выплюнул пробку на газон, обтер горлышко бутылки ладонью и подал ее мне.

Это был дешевый портвейн – самоубийство для язвенников, но сознание он туманил быстро.

После первых глотков я сразу почувствовал, как горячо ледяная жидкость обожгла мои внутренности.

Я протянул ему бутылку, но он отмахнулся от нее, пробубнив:

– Не лезет...

И спросил:

– Закурить, а?

– Бросил, – ответил я.

Десантник взглянул на меня светлыми, почти белыми в полутемноте глазами, и только теперь я увидел, как чудовищно он пьян.

Кивнув головой в знак согласия, он улыбнулся, и вслед за улыбкой черты лица его дрогнули.

– Не могу ее целовать! – трудно выговорил он, выпячивая вперед могучий подбородок. По его широкой гортани прошла судорога.

Он закрыл глаза и стал раскачиваться.

Он раскачивался всем корпусом вперед-назад и причитал:

– Ой, как больно! Ой, как больно мы отрезали им уши! Ниночка! Зачем ты попросила «Поцелуй меня в ушки!»? Ой, как больно, Ниночка!

И вдруг я увидел, что, раскачиваясь, он спит.

Я поставил недопитую бутылку рядом с ним на скамью...

Людской поток снова вывел меня на набережную.

Вспышка!

Стремительно высота озарилась сотнями ярких огней, мигающих, мерцающих, переливчатых, тяжело грохнуло, так что задрожали в окнах дворца большие цельные стекла; зарево поднялось над плоскостью реки, от его разноцветья вода, мгновенно меняясь, становилась палевой, кровавой, лиловой, серебристой, медной; осветился до того не видимый в темноте водолазный катер, низкий, вороватый, испуганный тем, что он обнаружен и на него взирают десятки тысяч глаз; нежно-розовый свет залил боевые корабли, ощеренные иглами пушечных стволов, над их палубами выросли пирамиды чашеобразных локаторов...

– Урра-ааа! – заревела набережная.

И сейчас же новый огонь взлетел в высоту.

От предыдущего залпа в воздухе таял дым, и громады стальных мостов, ракетноносцы, крепость, заполненная неисчислимыми толпами людей набережная, озаренная золотым блеском, – все это вдруг стало похоже на странный плод изощренного воображения, на пейзаж из потустороннего бытия, случайно увиденный когда-то в обрывочном сне.

– Да здравствуют наши девочки, самые дающие в мире! – орали моряки.

– Козлы! Козлы! – визжал юношеский фальцет.

– Урра-ааа! – ревела набережная.

С треском рвались петарды.

И среди всеобщего ликования, ора, свиста, среди пьяных выкриков, девичьих визгов, звонких детских голосов, хохота, ругани, воя милицейской машины, брэнчания гитар, разноголосицы переносных магнитофонов я почувствовал, как от меня отделился целый пласт моей жизни.

Широко, плавно распахнулся вокруг сверкающий город. Мгновенно он вырос во все семь сторон, достав ярким краем тьму болот, окружавших его. Купола соборов, крыши домов, башни, шпили, радиомачты стеклянисто вспыхивали, опережая нарастающим блеском грохот орудий ровно на столько, на сколько свет опережал звук. Я медленно плыл в толпе и зрением, слухом, кожей ощущал рядом новую, следующую мою жизнь.

«Это будет иная жизнь», – сказал я себе.

«Это будет жизнь свершений», – сказал я себе.

«Это будет жизнь в любви», – сказал я себе.

Лицо юной женщины было светлым...

Над водой с плачем носились испуганные чайки.

Группа школьников и школьниц – старшеклассников в обнимку друг с другом напролом перла по набережной.

– Слава партии Ленина! – выкрикивал впереди идущий подросток, охватив рукой свою подругу за талию.

И шедшие следом за ним хохотали и орали во всю глотку:

– Слава партии!

Я остановился.

«Что-то случилось секунду назад? – подумал я. – Здесь. В гуще толпы. Я что-то увидел...
Иначе откуда это ощущение мелькнувшего света?»

Среднего роста, в коричневых осенних сапогах и в приталенной замшевой куртке, надетой поверх белого свитера и длинной юбки в косую белую и коричневую клетку, юная женщина стояла ко мне боком, отвернувшись к девочке-подростку лет тринадцати, которую держала за руку. Девочка о чем-то спрашивала ее, и она отвечала девочке. У женщины были густые светло-русые волосы, уложенные на затылке в тяжелый узел. Сверкающая заколка охватывала его. У девочки волосы были точно такие же, с яркими прядями цвета соломы, только остриженные колокольчиком. Девочка по возрасту никак не могла быть ее дочерью.

Я приблизился к ним.

В нескольких метрах от них я стоял и ждал, когда она повернет голову так, чтобы мне стало видно ее лицо.

Оглянулась.

Гладкая чистая кожа лба, легкие полупрозрачные тени двумя полукруглыми – и над, и под глазами... Но источник света таился не в этой чистой светлой коже, а в самом взгляде глаз.

Грохнул залп.

Лицо юной женщины отразило красное, желтое, синее зарево неба.

Народ зашевелился. Прозвучавший залп был последним. Одна часть людского потока потекла к Дворцовому мосту, другая – к Кировскому.

Юная женщина с девочкой направились в сторону Дворцового.

Я пошел следом за ними, стараясь разглядеть, хороши ли у нее ноги.

Угрюмое затишье многотысячной толпы, расходящейся после праздника, стеной окружило меня, сделав более явственными шумы людских шагов и дыханий. Приближалось время ссор и драк. И кто не желал ссор и драк, торопливо уходил с места празднества.

«Зачем я иду за ней?» – спросил я себя.

И продолжал идти.

Мы достигли моста, пересекли мостовую и двинулись по тротуару. Я то приближался к ним, то отставал от них; дважды они терялись в людской скученности. И когда они терялись, я думал: «Значит, не судьба!» – и сейчас же в волнении начинал искать их. На Невском проспекте они сели в переполненный автобус. Я втиснулся следом за ними. Давка была ужасная. Я с трудом удерживался на нижней ступеньке входа в автобус. Двери за мной не закрылись – я сам мешал их закрытию, и, оглядываясь, я видел, как внизу подо мной в мокром блеске несется темная мостовая.

«Чем все это кончится?» – подумал я и вдруг почувствовал, что порядочно пьян.

Нажимая на впереди и выше меня стоящего человека, я сделал рывок вперед. В этот момент автобус круто повернул, пассажиры под действием центробежной силы полетели на левую сторону салона, и я, воспользовавшись этим, поднялся по ступенькам.

Я ухватился за вертикальный металлический шток, стараясь высмотреть: где она?

«Рядом!» – чувствовал я.

Но, сдавленный пассажирами со всех сторон, я не мог даже пошевелиться.

Мне повезло внезапно: автобус повернул еще раз, и опять все переменялось. Тяжелый узел ее волос возник прямо возле моего подбородка. Я вдруг оказался прижатым к ее спине.

Защищая руками от толкотни и давки, она обнимала перед собой девочку, которая ростом была ниже и глядела темными любопытными глазами снизу вверх.

Я подмигнул ей.

Девочка улыбнулась.

Так мы ехали долго.

От волос юной женщины веяло ароматом шампуня, сушеными травами и еще чем-то знойным, солнечным, что я уловил обонянием сразу же в первом вдохе и что смутило меня. Мое воображение представило эти волосы рассыпанными по белой наволочке подушки в ночном сумраке моей комнаты. И сейчас же совершенно точно я понял, что это так и будет. Что я и она уже приговорены кем-то к ночному сумраку моей комнаты, что мы непременно окажемся в этом сумраке вдвоем.

Она обернула ко мне лицо и посмотрела на меня даже не удивленно, но вопросительно.

И опять свет, соскользнувший с ее темных сверкающих зрачков и белоснежных белков, омыл меня, и я испытал сразу два чувства: стыд за то, что она прочла мои мысли, и восторг перед ее красотой.

Я ВЛЮБИЛСЯ МГНОВЕННО!

Несколько пассажиров пробирались к выходным дверям.

Меня опять оттеснили от нее.

Из глубины человеческого леса выдавилась старуха с личиком в кулак и в черном платке вокруг этого траурного личика.

– Сыночек, ты меня выпустишь на остановке? – прошептала она.

Автобус затормозил.

Влекомый выходящими пассажирами, я спрыгнул на асфальт и сразу очутился в толпе людей, штурмующих автобус. Едва те, что вышли, оказались на тротуаре, как вся эта толпа ринулась в двери.

Вдруг створки дверные со скрипом закрылись.

Я бросился за автобусом, треснул ладонью по его уплывающему, забрызганному грязью боку, но он обдал меня черным выхлопным облаком и, набирая скорость, начал удаляться.

Я видел, как он уменьшился, мигнул красными огнями; свора автомашин, мчавшихся следом за ним, закрыла его совершенно.

Шарф из-под распахнутой куртки свисал с моей шеи до самых колен.

Я отер носовым платком испачканную ладонь и побрел к трамвайной остановке.

Робко посыпал холодный дождь. Вокруг унылых фонарей появились нимбы.

Сильнейшая волна счастья внезапно стремительно подняла меня на высоком гребне.

«Это *она* была!» – донеслось сквозь никелированное сверкание дождя из далекого тупика опустевшей улицы.

5. Погоня

Я вошел в свою комнату, не зажигая свет, снял мокрую куртку и накинул ее на спинку стула.

Я знал: нельзя включать свет. Иначе то, что сейчас есть, то, что я с собой сюда принес, – исчезнет.

Прижав лоб к оконному стеклу, я долго смотрел вниз на перекресток, не видя ни пересечения улиц, ни станции метро. Потом взял со стола чайную чашку – пальцы сильно дрожали, и я обрадовался тому, что они сильно дрожат.

Так вот что таил в себе этот день!

В каждом мгновении человеческого бытия сосредоточена, реализуется, действует вся уже прожитая им жизнь. Но я уверен: не только прожитая, прошлая, но и еще не прожитая, будущая. Мы плохо знаем, как на нас, на наши поступки и желания воздействует наша будущая жизнь. Но воздействие ее – несомненно. И я в те огромные секунды, когда в автобусной давке она обернула ко мне свое лицо и наши глаза посмотрели в глубину друг друга, ощутил, как широко, сильно, властно устремился в меня поток моей жизни из моего будущего.

Окно эркера, всё в каплях дождя, тускло вспыхивало передо мной.

Вдруг дикая мысль вломила в мою голову: меня могут опередить! Прямо теперь, в эту минуту с нею рядом может оказаться другой мужчина, и она успеет влюбиться в него, пообещать ему выйти за него замуж, не ведая того, что я – единственный владелец ее лица!

И, испугавшись, я сразу понял: больше не увижу ее, не отыскать мне в пятимиллионном городе женщину, не зная даже имени ее!

Но тут же стало ясным и другое: не может быть, чтобы я ее не нашел! Сегодня помимо здравого смысла действует главный закон вещей – художественный. И если она – это *она*, я найду ее.

Мучительное перевозбуждение охватило меня. Я стал как бомба, готовая взорвать весь город.

«Поезжай на то место, где ты расстался с нею, и иди наугад! – внушал мне этот закон. – Она явилась в эту жизнь для тебя, потому что она изначально, из вечности твоя. Ты не можешь не найти ее. Отдайся безумию всецело! Решись! Справедливости нет, но есть судьба. Судьба выше разума. Ибо разум в тебе, а судьба над тобой. Поступи вне разума! Сегодня к тебе благоволение».

«Не могу вне разума», – почувствовал я.

Озаряемое разноцветьем фейерверка, происходящего где-то вдали на периферии моего зрения, где шевелилось море человеческих голов и розовели во мгле слоистого дыма ракетные корабли, ее лицо ожило...

Я достал бутылку водки, налил полную чашку и залпом выпил.

И еще налил и еще выпил.

«Сегодня!» – звенел вокруг меня напряженный воздух.

Сбегая с четвертого этажа по мелькающим ступеням лестницы, я уже понимал, что мне без взгляда ее глаз, без ее волос, налитых пряным запахом трав и зноем солнечных лучей, без переливчатости складок одежды, волнуемой движениями ее тела, в коем живая жизнь ее и моя жизнь новая – не смочь бысть. Это пища моя!

Дорога была длинной.

Длинной невыносимо!

По всем улицам города промчался трамвай. Он перелетел через все мосты.

Но я этой дороги не помню.

– Вне разума! – твердил я себе.

Что-то огромное распахнулось в моей душе, узрев невиданное блаженство любви к женщине, которая *она*.

Под дождем, готовый как угодно долго идти в любую сторону этого каменного людского поселения, лишь бы приблизиться к ней, увидеть ее, объявить ей, что не только отныне, но всегда она была единственно моя, предначертанно моя, я стоял на той самой остановке, где час назад потерял ее.

...Тяжелый торец автобуса, оседая на задние колеса, дохнул в меня удушливым сгустком выхлопного газа и сейчас же сделался маленьким, призрачным...

Я пошел навстречу своей судьбе.

«Простите! Простите меня! – говорил я. – Но поверьте: я отдаю себе отчет в том, как должно быть странно для вас мое появление перед вами ночью. Как оно нелепо. Но я пересек весь город, чтобы увидеть вас. Я вас искал, потому что знал, что вы есть и что я должен вас найти. И вот сегодня – конечная точка. Ответ. Только, умоляю вас, не пугайтесь! Я никогда не смогу причинить вам никакого зла. Скажите мне ваше имя!»

Она подняла на меня свой взгляд, и я увидел яркую белоснежность белков и блеск карих зрачков.

Столько сверкающего света струилось от нее!

Такой ослепительный поток!

Горизонт улицы сваливался то влево, то вправо – меня водило из стороны в сторону. И я был рад тому, что я пьян. Разве мог бы я сейчас делать то, что я делал, если бы был трезв?

«Я хочу услышать ваше имя, – продолжал я. – Я хочу его произнести. Вы не представляете, как велик для меня его смысл! Мне дано совершить нечто огромное. Я отвечу на вопрос, что было перед нашим рождением и что будет после нашей смерти. Всеобщим рождением и всеобщей смерти. И для чего все это с нами произошло. Для чего одни строили, а другие рушили, одни жертвовали, а другие стали жертвами. Я это свое предназначение почувствовал еще в раннем детстве. Я им жил. Но и любовью к вам. И тут – вот какая правда. И в ней корень и основа. Я чувствую, что только через любовь к вам я и могу это совершить. Вы – воплощение того ответа в земном, в женском образе!»

Попавшийся мне навстречу прохожий шарахнулся от меня. Я сообразил, что он испугался оттого, что я говорю вслух. Я обернулся и крикнул ему вдогонку:

– Никогда ничего не бойся!

И опять я шел по незнакомым улицам, воспринимая как должное, кем-то заранее запланированное на моем пути рекламы на крышах, обнаженные деревья, газетные киоски, мокрые красные флаги, торчащие из металлических держателей на фасадах зданий. Дождь кончился. Луи обрели зеркальную гладкость. Помню, я остановился и стоял под деревянными буквами «РЕМОНТ ЧАСОВ». Они были выкрашены толстым слоем золотой краски, а стена, к которой они прикреплялись, была оштукатуренной, серой. И они сумрачно блестели на ней, а в стеклянной витрине висел на проволоках бутафорский циферблат с нарисованным контуром башни Адмиралтейства и с фанерными черными стрелками, которые вечно показывали без пяти двенадцать.

Я понимал: то, что я сейчас делаю, находится за пределами нормы поведения человека разумного. Я это ясно понимал и именно потому делал. Я всегда был уверен: подлинные истины лежат за гранью разума. Именно разум – смиренная рубашка высшего познания. И я, совершая неразумное, ненормальное, не чувствовал себя сумасшедшим или психически больным человеком, но чувствовал другое: сегодня мне разрешено постичь больше, чем было разрешено постичь вчера и будет разрешено постичь завтра. Почему именно сегодня – тайна! Но я еще с утра почувствовал: наступает день поступков. Я начал ощущать это особенно сильно, когда

наконец решился разорвать с Юлией отношения и пошел к ней и разорвал их, и еще сильнее и ярче – на набережной, перед самой встречей с юной женщиной.

И вот чудесное окружило меня. Оно было в том, что я шел, и в том, что аляповато блестя буквы на серой стене. И шагая в священном забытии, в каком-то полуреальном молитвенном состоянии, я с радостью ощущал доселе не ведомое мне доверие к своей интуиции. Я ощущал ее не как бесплотную мою фантазию, но как нечто живое, живущее, как еще одну кроме меня самого во мне личность.

Вдруг кто-то произнес в центре моего мозга:

– Рядом!

Я свернул в подворотню.

В глубине ее был темный двор с электрической лампочкой над следующей подворотней, уже чуть меньшей – закон перспективы, – чем первая, ведущей в следующий темный двор, и еще одна лампочка над еще одной подворотней.

Я прошел под всеми подворотнями и оказался в последнем дворе. Меня объяла странная тревога. Мне почудилось, будто я был когда-то в этом дворе и уже испытывал эту тревогу. Я узнал не двор, но тревогу.

Я поднял кверху лицо.

Воздух надо мной сгустился, и из него посыпал снег.

Крупные белые хлопья, словно тысячи белых птиц, валились в глубокую яму двора, и что-то сказочное было в этом отвесно падающем вечернем снеге, в его сухом шуршании, в быстром влажном холоде, когда снежинка опускалась на бровь или ресницы.

Дворовые отроки, мы лепили в углу сошедшихся стен снежную бабу – нас было много, детей одного возраста, – а в это время через двор плыла настоящая баба в дешевом зимнем пальто и в шерстяном платке. Баба несла в руках кочан капусты, и мне вдруг почувствовалось, что сейчас что-то случится, и именно с этой живой, идущей через двор бабой. Меня охватило сильное беспокойство. «Скорее бы!» – подумал я. И даже не удивился, когда из дверей черной лестницы, делая гигантские упругие прыжки, вылетел босой черноволосый дядька в одних брюках и рубаше навывпуск. Послушно вытянулось в дядькиных руках что-то длинное, блестящее. «Нагулялася? – закричал он тончайшим фальцетом. – Не дам жить!» И баба вдруг встала, точно натолкнулась на твердую преграду, огромнейшими глазами оглядела двор, грустно заглядывая в каждое окно, потом глаза ее остановились на мне, и была секунда, когда я впервые почувствовал, что время умеет прекращаться, – эту секунду два наших взгляда были слиты, и только странно, как сквозь прозрачную, но живую материю падали сквозь взгляд белые птицы. «Возьми!» – прошептала она, протягивая мне кочан капусты. Глаза ее медленно поехали вверх, закатились, я увидел, как то темное, глубокое, во что я смотрел, стало непроницаемым, белым; баба качнулась и как бревно рухнула в снег, так и не выпустив из рук капусту. «Колька Лидку уби-и-ил!» – удушливо завыл в поднебесье низкий женский голос. Дети бросились в подворотню. А я не мог сдвинуться с места, я даже не испытывал страха – просто потерял способность совершать шаги, говорить, думать и зачарованно глядел на неподвижно лежащую бабу и на кочан капусты. Потом я увидел, как к бабе подошел тот черный, взъерошенный, в рубаше и с ружьем, тронул ее рукой, перевернул, отер лицо ее от снега, размазав жидкую темную кровь, которая бежала у нее из уголка губ, сел рядом на снег и заплакал длинным выющим звуком: «Уй-иии!» И только тут я услышал выстрел. Он был таким оглушительным, что мне показалось, будто тысячетонные стены рухнули на меня.

Эти стены никогда не восстанут из обломков.

Я опустил запрокинутую голову, поглядел на черный асфальт под моими ногами, и в моем сознании медленно проявились четырехгранный колодец незнакомого мне двора и прямоугольник темного и мутного неба, чуть фосфоресцирующего, как это бывает в больших индустриальных городах.

Я оглядел двор.

Был он небольшой, глухой, с единственной парадной, дверь в которую была чуть приоткрыта.

И оглядев его, я понял, что потерял то высочайшее водительство, которым обладал еще несколько минут назад, что я попал совсем не туда, куда стремился, и я мучительно не могу осмыслить – и это самое важное для меня, – почему именно в этот двор привели меня мои ноги.

Внезапно я забыл лицо юной женщины, которую разыскивал. Невидимая волна, пролетевшая по моей зрительной памяти, смыла его начисто, не оставив ни теней, ни линий, и только память умственная еще хранила в себе пустую неодушевленную фразу, которая и закрепилась в ней потому, что я много раз повторял ее: «Как она прекрасна!»

Со мной произошло подобное тому, что случилось с апостолом Петром, когда он по воде шел к Христу, но вдруг усомнился в том, что такое могущество ему, апостолу, дано и, главное, что такое чудо вообще может быть здесь, на Земле, и стал тонуть.

«Однако так нелепо это не может разрешиться, – сказал я себе. – В конце концов, в какие моменты я ошибался: когда шел за ней, ехал с нею в автобусе, сидел в темном эркере, ринулся ее искать, наконец, пришел сюда, в этот двор, или сейчас, когда вдруг осознал, что все происходящее – пьяный бред?»

Стремительно вошел я в парадную.

Запахи камня и теплого сухого воздуха, исходящего от горячего радиатора парового отопления, окружили меня. В этих запахах обитала история человеческих жизней по меньшей мере за полтора последних столетия государства российского. Квадратные каменные плиты, на которых я стоял, были протерты сотнями тысяч ног до плавных гладких углублений. Впереди круто уходила вверх лестница со сколотыми и сточенными ступенями разной высоты. И свод над ней был арочный, каменный. Одна на всю площадку, справа темнела квартирная дверь, обитая исполосованной ножом кожей и имевшая старинный механический звонок – наружу торчал на оси медный барашек.

Я повернул барашек.

Звонок курлыкнул слабо, осторожно.

И мне стало не по себе от этой его осторожности.

Тишина занимала все пространство лестничной площадки.

Наконец за дверь послышались шаги.

Подойдя ко мне вплотную, кто-то прижал ухо к моему сердцу.

Молча, мы стояли друг против друга, разделенные лишь толщею деревянной двери.

– Кто? – спросил пожилой женский голос.

– Откройте, пожалуйста! – сказал я.

– А что вам нужно?

Вдруг я почувствовал унижительный комизм моего положения.

– Я хотел бы кое о чем спросить у вас.

Фраза вышла скомканной. Я понял: та, за дверь, уловила по моему голосу, что я пьян.

– Не открою, – ответила она. – Спрашивайте оттуда!

– Хорошо, – сказал я. – Здесь живет молодая женщина лет девятнадцати-двадцати? Густые волосы. Русые, со светлыми прядями. И с нею девочка. Лет тринадцати.

– Нет, – ответил голос из-за двери. – Молодые женщины с густыми волосами здесь жили пятьдесят лет назад.

Прерывистый туннель из трех подворотен повел меня к далекому свету уличных фонарей.

Я вернулся на улицу и прошел с квартал.

Будка телефонного автомата вынырнула передо мной из-под стены дома.

Будка была без двери, но аппарат цел.

Я кинул в него монету и набрал номер домашнего телефона парикмахерши.

6. Город ночью

Я набрал на диске номер домашнего телефона парикмахерши.

Я это сделал осознанно.

Колоссальная энергия протеста против самого себя нарастала во мне. Я знал, что это злая, темная энергия. Но ее требовалось истратить.

– Алё? – шепнул внутрь моего уха тихий голосок с легчайшей, чуть царапнувшей хрипотцой; наверное, спала уже, а телефон поставила возле кровати на пуфик.

Увидел кудлатую ее голову в спутанных кудряшках, круглое заспанное лицо, мягонькую ночную пижаму с кружевами вокруг полной шеи, на запястьях и на гладких икрах.

– С праздником Октябрьской революции! – гаркнул.

Чтобы был уже полный абсурд.

– Это ты? – удивилась.

– Бес из преисподней. Люсенька, я подыхаю от жажды видеть тебя!

Приподнялась в постели. Еще плохо соображает, что к чему. Рука – локтем в подушку, налитые груди свесились как гири.

Но даже отсюда видно: глазки сверкнули.

– Ты чего, пьяный? – спросила без укора за то, что поздно звоню и разбудил ее, но пытается понять по интонации моего голоса: пьяный, но люблю ее, или только пьяный.

– Я всегда пьян, когда говорю с тобой! Приезжай!

– А что я скажу родителям?

– Скажи, что ты уже выросла, что у тебя все вполне расцвело и созрело и есть умный мальчик, который хочет это богатство присвоить!

Хихикнула.

– Ты шутишь?

«Бейте ментов!» – прочитал на стенке кабины.

– Я зацелую тебя до сумасшествия!

Подумала. Вдруг:

– А ты же сегодня в ночь работаешь!

Холодок скользнул по моей коже.

– Сколько сейчас времени?

– Половина первого.

Представил себе Раскоряку, матерящегося у котлов. Я должен был сменить его в двенадцать.

– Люсенька! Придумай что-нибудь и гони в котельную! Еще успеешь на метро. Четверть второго выйду к забору встретить тебя.

– Но я не смогу! – воскликнула умоляюще.

– Если любишь – сможешь!

Я вывалился из будки.

Черная ночная улица сверкала...

Я добежал до перекрестка и увидел вдали над городом пятиглавый собор.

«Там – площадь, транспорт!» – вспомнил я.

Вбивая неверные шаги в асфальт тротуара, я двинулся в сторону собора.

Я смотрел на темные его купола.

Я не отрывал от них взгляда.

При каждом шаге они вздрагивали.

Что-то зловещее было в этих куполах, в их темноте и огромности, в их возвышении над городом, который был как бы незначительнее их, что-то мрачное, от казни, от эшафота, от смерти.

Навстречу попалась пьяная компания, довольно агрессивная – шли скопом, свистя, улюлюкая, наводя страх на редких прохожих. Юнцы, лет по семнадцать, но много.

Ринулся на них. Расступились. С кем-то крепко стукнулся плечом о плечо.

В спину мне полетели угрозы.

Я не обернулся, и вскоре голоса их затихли далеко позади меня.

За открытой форточкой окна высокого первого этажа лениво шумело застолье, уже выдохшееся, усталое, звенела посуда, нетрезво, громко говорили мужчины, пели на два голоса женщины...

«Куда я спешу? Что я делаю в этом странном городе в эту странную ночь? – мерцали в моем сознании мысли-вопросы. – Неужели именно в нем я родился и всегда, с первого моего вдоха, он был *мой* город?»

Из переулка выбежал белый пес. Дворняга. Поднял на меня медные глаза и сказал:

– Если ты думаешь, что ты живешь, то ты ошибаешься. Это лишь сон, в котором тебе снится твоя жизнь.

– А ты? – спросил я, уводя взгляд от его глаз. – В тебе жизнь есть, или ты лишь тонкая пустая оболочка? Ударю ногой, исчезнешь, – нащупал в кармане окаменевшую ириску и кинул ему.

Он не стал ее грызть, но за мной увязался, однако вскоре увидел кого-то на другой стороне улицы и бочком, не оборачиваясь, потрусил через дорогу.

Ветер дунул.

Откуда?

И с такой силой!

Пронесся мимо...

Опять налетел!

Небо пришло в движение.

Рыхлая мгла туч лопнула. В черных дырах зашевелились звезды.

– Стой! – заорал я, увидев легковой автомобиль такси.

И опять все для меня переменялось.

В который раз за этот день, вечер, ночь!

Опять разворачивались фасады домов, проносились мимо конные статуи царей, вспыхивали в отраженных лучах алые флаги...

«Какая глупая история приключилась со мной сегодня! Какая нелепая! – размышлял я, глядя в окно автомобиля. – На всю жизнь запомню черные купола над городом. Будут мешать. Будут сниться. Но запомню».

7. Возле огненных топок кипящих котлов

Безлюден был темный парк.

Свет фонарей покачивался меж деревьев.

Мокрая земля вспыхивала вокруг меня мелким раздробленным блеском.

Ветер разгулялся не на шутку. Под мутной высью ночного неба быстро летели белые облака. И двукрылое здание Травматологического института с редкими горящими окнами, занавешенными марлей, с многостекольным голубым окном операционной, как чудовище, наплывало на меня из темноты парка вместе с чугунными деревьями и сплошным серым забором.

Двумя руками я надавил на створку деревянных ворот, и она со скрипом отплыла от меня ровно настолько, чтобы можно было протиснуться боком.

Я пересек дворик и через проем отворенной настежь двери вошел в котельную.

Неживое тепло работающей техники дохнуло в меня запахом намагниченного воздуха. Мрачно гудели котлы, звенели и чавкали насосы, шумел вентилятор, но даже сквозь все эти звуки был слышен громкий красивый человеческий голос:

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит,
О родине что-то поет!

Перед фронтом котлов на низком табурете сидел Раскоряка, отставив в сторону кривую ногу, и пел. Глаза его были закрыты, лицо торжественно и полно того сладостного страдания, которое составляет высшее человеческое наслаждение.

Уловив в воздухе постороннее присутствие, он поднял дрожащие веки, замолк и некоторое время смотрел на меня неподвижными глазами, одновременно распрямляясь в спине.

– Завтра сменю на два часа раньше, – сказал я.

Не сводя с меня глаз, с трудом сохраняя равновесие, Раскоряка, как с коня, слез с табурета, шагнул ко мне и охватил меня ладонями за плечи.

– Эх же ты ж!.. – выдохнул он мне в лицо, хотел что-то сказать, но неожиданно проследился и потянул меня в каптерку.

Каптерка – была крохотная комнатка, где кочегары вели вахтенный журнал. В ее стене имелось окно, снаружи закрытое решеткой из стальных прутьев. К другой стене был вплотную приставлен старый топчан.

Мы вошли.

«Из травматологии с просьбами приходили», – понял я, увидев на столе стеклянную литровую банку, заполненную на четверть прозрачной, чуть голубеющей жидкостью.

Крышкой банке служил дном вставленный в ее горловину стакан.

Раскоряка плеснул из банки в стакан и протянул стакан мне. В его глазах мелькнуло странное сочетание сразу двух чувств: отчаяния и счастья. И чего присутствовало больше, отчаяния или счастья, понять было нельзя.

«Не выпью – будет упрашивать до утра!»

Я залпом хватил спирт и на несколько секунд задохнулся.

– Санитар приходил? – с трудом спросил я, сглатывая липкую слюну.

– Кто же еще! – кивнул Раскоряка.

– Сколько поставил?

Это спросил не я «истинный», а тот другой я, какой мог быть в этой котельной «своим парнем».

В сущности, вся человеческая жизнь – это игра в «своего парня». Перестань играть – и сделаешься чужаком, изгоем, иноверцем.

– Так! – пальцем показал на банке Раскоряка.

«Порядочно в тебе!» – подумал я, сравнивая отметку, указанную его пальцем, с тем, что в банке осталось.

– Ногу, гады, отрезали! – проговорил Раскоряка сдавленно. – Простынку разворачиваю... Такая молодая, здоровая! Ей лет пятнадцать, этой ноге, – он загукнул горлом, смахивая слезы, и запел: – По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах!..

Опять воздух сгустился и поплыл передо мной.

– Сжег? – спросил я.

Он посмотрел на меня удивленно.

– А как же!

– На первом котле или на втором? – спросил я тот, которому надлежало быть «своим парнем».

– На втором, – ответил Раскоряка.

С минуту мы молчали. Трубочатая лампа дневного света дребезжала под потолком.

– Пойдем переодеваться! – наконец сказал я.

В раздевалке я облачился в робу, сразу учуяв технические запахи газа и кирпичной пыли, которыми она пропиталась.

Раскоряка дымил папиросой, стягивая с себя комбинезон. Обнажилось его тощее старческое тело с бледной нездоровой кожей. Правая нога была у него кривая, высохшая, – результат падения с большой высоты. Не торопясь, он надел на себя рубаху, кальсоны, которые носил всегда, даже в жаркую погоду летом, брюки, пиджак, латаный болоньевый плащ. И перед зеркалом причесал жидкие волосы. Тщательно.

– Тебе сколько лет? – спросил я.

– Чего? – не понял он.

– Сколько тебе лет?

– Тридцать девять, – ответил он.

Я проводил его за забор и долго смотрел ему вслед.

Припадая на кривую ногу, Раскоряка шагал достаточно твердо. Он жил сразу за парком, и я понял, что он дойдет.

Он даже не заметил, что ушел на час позже.

Я вернулся к котлам.

Котлы работали четко, отлаженно.

Я лег на топчан, потрогал ладонью его поверхность – упруга ли? – и сразу понял, для чего именно я ее потрогал и какой мне прок сейчас в ее упругости.

«Это выход?» – подумал я о парикмахерше.

После выпитого спирта меня охватило новое опьянение. Оно усиливалось с каждой минутой. Я стал видеть ярче, чем прежде, но все предметы волнообразно плыли передо мной и как бы мимо меня.

Когда в четверть второго я вышел к воротам встречать Люсю, я был уже совершенно пьян.

Ветер тек в высоте. Воздух над дымовой трубой чуть колебался от исходящих из нее газов. Звезды в этом воздухе становились жидкими.

«Не приехала, – подумал я, глядя на пустую аллею. – Ну и слава богу! Уберегла себя от меня. Умница!»

И услышал совсем близко слабый ее голос:

– Я здесь!

Она стояла, спрятавшись за широким стволом тополя. Ее нежно-голубой плащ светлел в темноте. Когда я подошел к ней, она взглянула на меня снизу вверх и улыбнулась. Двумя руками она держала перед собой за длинные ручки дорожную сумку с выпуклыми боками, поставив ее мягким днищем на носы своих туфель.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я, сразу ощутив запах крепких духов, который сверкал вокруг ее белокурых волос.

– Я? – переспросила она так, словно здесь был еще кто-то и вопрос мог относиться не к ней. – Парень шел за мной.

– Где он?

Она молчала, с таинственной улыбкой взглядывая на меня исподлобья.

– Отстал, наверное, – промолвила она. – Постоим здесь у дерева. Здесь хорошо.

Сумрачные тени мягко переместились на ее лице.

– Пойдем! – сказал я, забрав у нее сумку.

Она опустила взгляд в землю, несколько секунд ждала.

– А для чего нам туда идти? – спросила.

И захихикала.

Мы вошли в помещение котельной.

Посреди котельного зала она остановилась. Ломкая тревожная улыбка блеснула на ее лице. Обычно мы встречались у ворот и гуляли по парку; возле котлов она была впервые. И эта неожиданная робость, удивленное разглядывание приборов, нависающих над ее головой, произвели на меня новое впечатление, суть которого можно было выразить так: «Я правильно сделал, позвонив ей».

В каптерке я помог ей снять плащ, и она осталась передо мной в очень короткой кримпленовой юбочке, держащейся на ее округлых ягодицах колоколом и совершенно открывающей постороннему взгляду ее широкие, сверкающие капроном бедра. Еще на ней была красная блузка с мелкими стеклянными пуговицами, а на ступнях – лакированные туфли-лодочки.

– Ты такой пьяный! – сказала она. – Где ты так напился?

Я крепко взял ее за запястья, опустил спиной на топчан и повалился в черный провал без дна.

«Хочу! – жадно хрипел во мне яростный ненасытный голос. – Я земляной человек. Я хочу!»

Тут и там мелькала разноцветная женская одежда...

Топчан плыл из-под меня и бешено вращался...

Задышавшись, судорожно хватая ртом воздух, я поднял голову и стоячими глазами увидел в прямоугольнике окна в блеске ночи омерзительное туловище дымовой трубы.

Люся рывком села, прикрывая студенистые груди руками, не глядя на меня, не произнося ни слова.

Я выпрямился над ней в полный рост, испытывая отвращение к самому себе, к ее разбросанной одежде, к этой тесной каптерке.

– Сейчас... – с трудом выговорил я. – Надо... Проверю показания приборов...

По серому цементному полу среди пыльного железа, среди множества уродливо изогнутых трубопроводов я бродил.

Я был мертвецки пьян и абсолютно трезв.

«Нет, это совсем не та жизнь, которой я хочу жить, совсем не те чувства, которые хочу испытывать!» – говорил я себе.

Я трогал маховики задвижек на насосах, прислонялся лбом к холодным металлическим стойкам, вспомнил о ноге, сожженной Раскорякой в топке котла, вспомнил о том, как спросил о его возрасте.

Я прижал глаз к слюдяному окошку котла.

Пламя бушевало в замкнутом объеме трапецевидной топки. Струи раскаленного газа, завихряясь, напряженно гудели.

Я впустил свой взгляд внутрь топочного пространства, где огнеупорный кирпич светился так, словно был прозрачен, и оттуда обернулся к себе, смотрящему через окошко.

«Всё – сновидение: ракетноносцы, коммунистические лозунги, христианские соборы, жидкие волосы Раскоряки, то, что я пьян, и то, что было с парикмахершей, – ощутил я, глядя на себя из топки. – В этом сновидении страшен только один момент. Момент смерти. Но и это не вся правда. А вся правда в том, что и сновидение это, – и вот почему я спросил его о возрасте, вот в чем был тайный смысл вопроса, мы не для себя смотрим, но для кого-то всевластного и несправедливого, для которого сон наш – развлечение».

Когда я вошел в каптерку, Люся, по-прежнему голая, замерзшая, сидела на топчане и плакала.

Я опустился на топчан рядом с ней.

– Ты меня совсем не любишь! Совсем! – проговорила она, шмыгая сопливым носом. – Как со шлюхой! Даже не разделся!

Крупные слезы падали на ее колени. Спина была сутуло искривлена, гладкие овальные складки жира кольцами сложились на мягком животе, прикрывая рыжий шелковистый пах. И темнела, чуть выпятившись, лунка пупка.

Я наклонил ее голову к своей груди и сказал:

– У тебя красивые ноги.

Она взглянула на меня полными слез глазами.

– Ты правду говоришь? – спросила она.

Я кивнул.

Она отыскала носовой платок, шумно высморкалась и улыбнулась.

– У меня с собой пирожные есть, – прошептала она доверчиво.

Через пять минут канцелярский стол с подложенными под стекло календарем и порнографической открыткой, заменявшей Раскоряке по ночам женщину, был устлан дюжиной разноцветных салфеток с эмблемами какого-то фестиваля в уголках. Вновь одетая в узорчатые чулки и лакированные туфельки Люся выставляла на стол привезенные сласти.

– Мне такой дурной сон приснился сегодня! – ворковала она. – На огромном поле – миллион людей. Стоят квадратами, как военные на параде. И ждут. И я тоже с ними стою и думаю: а чего мы тут все ждем?

Она захихикала.

«Тарелочки принесла», – отметил я, следя за тем, как последовательно она извлекла из своей сумищи тарелки, розетки, пирожные, банку с вареньем.

– И восходит из-за края поля солнце, – продолжала она. – И само собой делается серебряным. И я вижу, что это не солнце, а глаз в небо поднялся. Большой прозрачный глаз. Смотрит на меня сверху сердито.

Чай дымился в чашках.

Тошнотворно кружилась голова.

Я с трудом пихал в себя сладкие куски пирожного.

Люся сидела напротив меня, закинув ногу на ногу. Она была почти счастлива.

– Давай я тебе сделаю модную стрижку! – вдруг воскликнула она. – Совершенно бесплатно!

И показала в воздухе движение пальцами, будто на пальцах у нее ножницы и она стрижет ими.

– Нет, – ответил я.

– Ну почему? – она капризно надула губки. – Мне так хочется!

– Зачем мне модная стрижка?

– А зачем все делают? Чтобы было красиво.

– Я и так красив, – сказал я и добавил: – Пойду приму душ. А ты ложись.

«И сколько было уже в твоей жизни не той жизни, не тех женщин, не тех чувств!» – произнесла, попав в мой замедленный взгляд, ее яркая красная блузка.

В холодном вертикальном гробу, обложенном изнутри глазурированным кафелем, я стоял. Под моими ступнями была скользкая деревянная подставка, ощущать которую я более всего брезговал. Ледяной дождь с силою падал на мою голову и на мои плечи из кривой лапы рас-труба, прикрепленной к стене на кронштейнах. Когда я резко открыл кран, дождь ударил меня жгучим холодным потоком, так что сердце мое совершило кульбит и зачастило.

Так я стоял минут пять, пока головокружение не прекратилось. Тогда я тронул кран горячей воды и, ощутив тепло, не выдержал искушения и открыл кран полностью.

Гроб постепенно наполнился туманом, кафель запотел, и лампочка в матовом плафоне расплылась мутным пятном.

Я стоял под горячими струями воды и смотрел на склизкую забухшую дверь.

«Вот – я», – подумалось мне.

И я понял, что «Вот – я» – и есть этот гнусный запотевший гроб, от пола до потолка заполненный паром. И что в сущность этого «Вот – я» входят все мои мысли, опьяненное алкоголем сознание, усталость и тоска после попытки слиться воедино с женщиной, которую я не любил.

Потом на моем месте оказался Раскоряка. Худой, уродливый, он стоял в этом самом гробу, сладострастно млея в горячем паре и держа перед глазами в дрожащих пальцах свое одномерное глянцево-сокровище, с которого на него все так же одинаково взираала без осуждения и любви вечно улыбающаяся шлюха с вечно разверстыми ногами.

«Нет, – сказал я себе. – Это взрыв случайной мысли. Я застрахован от такой судьбы. Я отлучен от этого гроба тем навсегда остановившимся мгновением, когда в полутемном зале, где я стоял один и никого не было рядом со мной, в огромнейшем зале, где в пустоте пространства переливались жестким блеском мраморные колонны и краснели ряды бархатных кресел, в фантастическом зале, где на возвышении сцены спиной ко мне под тяжелым старым органом, трубы которого сияли серебром, сидел музыкант, звучало, как высшее сокровенное знание, обращенное только ко мне, только мне одному передаваемое кем-то, кто *не человек* был, то неземное адажио. Я был тогда безгрешен телом и светел сердцем, я не мог обмануться».

Не знаю, какие шлюзы открылись в моей памяти, какие пути в ней стали свободными, но тихо и торжественно оно зазвучало вновь.

И текла вода, и вода звучала, и я слушал его, и я слушал воду... И не стесняясь, в голос рыдал, хватаясь за скользкие стены, зажимая глаза ладонями.

Когда я вернулся в каптерку, топчан был застелен чистыми простынями и на них, на белой накрахмаленной наволочке, положенной на скрученный ватник, спала Люся. Поклонница уюта, она везде носила с собой этот уют. На спинке и сиденье стула аккуратно были разложены и развешаны ее вещи.

Я смотрел на ее вещи, я смотрел на ее лицо.

И ее вещи и ее лицо почувствовались мне очень беззащитными и даже более – легко уничтожимыми.

«Ведь есть же кто-то, кто больше жизни любит это живое существо, кому дорога каждая складочка, каждая родинка, каждая царапинка на этом теле, – подумал я с мгновенной болезненной жалостью к ней. – И как же тот, кто ее любит, должен сейчас меня возненавидеть!»

Я вышел во двор.

Начинало светать. Небо вновь затянуло тучами, но из глубины воздуха мягко струился серый предутренний свет.

Я стоял у раскрытой двери возле здания котельной.

Высокая кирпичная труба уносилась предо мной в низкую муть неба, тяжелый корабль Травматологического института сел в тумане на мель, и окна его погасли.

Было холодно и очень тихо. Словно все вокруг прислушивалось к грядущему утру, примеривало себя к будущему свету.

«Что же случилось со мной вчера? – думал я, внимая холоду и тишине. – Какой-то странный взрыв. Что-то разрушилось».

«А она? – подумал я о Люсе. – Для нее что такое вчерашний день? День, в который для меня что-то разрушилось».

И вдруг все это я увидел как бы со стороны, но не из себя и не из нее, а с какой-то иной, отстраненной от нас точки в пространстве.

Здесь, рядом с этой гадящей смертоносным дымом трубой, в этом мрачном кирпичном здании, напрочь лишенном какой-либо красоты, возле огненных топок кипящих котлов спит мирным сном совсем еще неопытная молодая женщина, не прочитавшая за свою жизнь пяти книг, но которой непонятно за что, непонятно для чего является в сновидении Всевидящее Око, а я стою здесь, снаружи этого мрачного здания, и меня окружает серый предутренний свет. И эта женщина только что отдала мне себя, то есть позволила, разрешила, захотела, чтобы я проник в тайная тайных живота ее, туда, где может зачатся новая жизнь, позволила, не раздумывая, зло это для нее или благо, от Бога я или от дьявола, но потому лишь, что она любит меня. И что я могу сделать ей за ее любовь праведного, такого, что действительно было бы для нее благо?

И я понял: единственное благо, которое я могу для нее сделать, это навсегда избавить ее от меня. И сейчас же мне стало ясно, что я так и сделаю.

И я поклялся и этим мрачным зданием, и этим робким светом, и – что было страшнее всего – самим собою, что никогда более я не позвоню ей по телефону, не приду к ней и не приглашу ее к себе, не напишу ей письма, не потревожу ее, как бы ни был я пьян, болен, одинок, никогда более не воспользуюсь жертвенностью ее любви!

И я сдержал свое слово: после этой ночи мы больше не виделись.

Я вернулся в каптерку и сел рядом с ней на топчан.

Меня валила усталость.

Время от времени, не пробуждаясь, я как бы сбрасывал с себя часть дремоты, чтобы пройти в котельный зал и проверить горение в топках.

Однажды сквозь полусон кто-то отчетливо произнес надо мной:

– Все!

Слово упало подле меня и разбилось.

«Кто все?» – спросил я.

За окном рассвело, когда, глядя на спящую Люсю, я увидел ту юную женщину, которая была с девочкой на набережной.

Она возникла из пустоты, как прозрачное видение, воздушно, солнечно – лишь взгляд...

А дальше вот что произошло: я ее снова встретил!

Часть вторая

8. Адажио Альбинони

На табличке, прикрученной шурупами к двери со стороны коридора – а мальчик уже легко, бегло читает, – надпись «БУХГАЛТЕРИЯ».

За дверью – комната.

Более часа мальчик сидит в ней на тяжелом казенном стуле, окруженный громоздкими канцелярскими столами, которые беспорядочно завалены картонными папками, листами использованной копирки, стопками государственных бланков.

Семь лет ему. Он сероглаз, худ и очень сильно загорел за летние месяцы. Загорелость его лица и шеи особенно заметны оттого, что несколько дней назад его остригли наголо и все участки кожи, которые были покрыты волосами, теперь выглядят белыми.

Напротив него ссутулилась над бумагами женщина, рано увядшая, некрасивая лицом. Она непрерывно пишет в серых конторских книгах.

– Тетя, – наконец произносит мальчик, – можно мне послушать музыку?

– Ты хочешь на репетицию? – спрашивает она, не прекращая работы.

– Очень.

Женщина снимает очки и устало смотрит на мальчика.

– В прошлый раз репетировали Шостаковича. Эта музыка не для детского восприятия.

– Я люблю ее слушать, тетя.

– Хорошо, – уступает она. – Но ты опять будешь сидеть на хорах у стенки, потому что в партере тебя могут увидеть. Ты ведь знаешь, на репетициях нельзя находиться посторонним.

– Меня никто не заметит, – обещает мальчик.

Женщина – тетка мальчика, двоюродная сестра его матери. Когда матери не с кем его оставить, мать приводит мальчика в филармонию, где тетка работает бухгалтером, чтобы тетка за ним присмотрела.

Они идут по коридору, через лестничную площадку, мимо железной шахты лифта, проникают за бархатную занавеску, останавливаются, но лишь на секунду, тетка толкает невидимую дверь, и мальчик оказывается в желанном мире.

– Садись! – шепчет тетка, подпихивая его к длинному дивану возле стены.

И на цыпочках, как бы умаяя себя, крадучись уходит.

Вот он – под ним, перед ним, над ним, – этот великолепный торжественный зал с мраморными колоннами, серебряным органом, рядами красных кресел и высоким сводом! Но мальчик не усаживается на диван, как было ему наказано; огибая зал по периметру, он идет по упругим бесконечным коврам, совершенно скрадывающим шаги.

На пустых хорах темно. Внизу ярко освещена сцена. За пультом органа – органист. Музыканты одеты не в черные концертные фраки, а в будничную одежду. Они о чем-то переговариваются, спорят, внезапно разругались друг с другом. Оглушительный звонкий хлопок – падение на пол пюпитра. Тишина.

И сразу...

Звучание органа!

Музыка.

Она плавно отделилась от тишины, поднимается ввысь, постигая свободу, заполняя глубокий сумрак зала.

Мальчик один на хорах; вся ее светоносная мощь обращена на него. Он ли внутри нее или она в нем? Что-то переменялось в мире. Он смущен, взволнован. Его пальцы жаждут осязать земное, что музыке не принадлежит. Он трогает холодный мрамор колонны.

Он никогда не слышал такой печальной музыки. Как она красива!

Но нельзя, чтобы так долго было так мучительно печально! Если этот восторг продлится еще минуту, сердце не выдержит.

Потупив взгляд, он медленно ступает по ковру. Облезлые носы его изношенных ботинок удивляют его. Как могут одновременно существовать эти уродливые носы и эта музыка? Ведь это две разные правды. А он знает: правда должна быть одна.

Наконец музыка угасает, прощается с ним.

Смолкла.

И опять потекла из своего таинственного истока.

Скрипки поют.

Откуда она явилась в этот зал? Она не могла явиться из-под грубого волоса смычков или из металлических труб органа. Она явилась из какого-то неведомого далека, названия которого он не знает, но где так прекрасно. Поэтому исток ее и сокрыт в тайне. Не приближайся к нему – исчезнешь!

Мальчик почувствовал удушливое стеснение в груди.

Сейчас наступит смерть...

И вдруг – словно глубокий спасительный вдох!

Я ЖИВУ! Я ЕСМЬ!

Лавина безбрежной радости подхватывает его!

Колонны, люстры, ковровые дорожки – всё, мерцая, расплывается.

«Отчего я заплакал? – не понимает мальчик, растирая слезы ладонями по щекам. – Ведь я так счастлив...»

9. В старом финском доме

Я стоял перед холодным пустым домом. Снежные сугробы окружали меня, а дом в ночной полутьме был огромен и возвышался среди сугробов неколебимо и мрачно. Сто лет назад его поставил зажиточный финн для многочисленного своего семейства, которому предназначалось жить здесь, умножать богатство и плодиться, и потому он был воздвигнут на основании из гранитных глыб, сложен из прочных бревен и накрыт железной крышей, в скосе которой чернело сегментом чердачное окно. Хозяин его, следуя тогдашней архитектурной моде, с двух сторон пристроил к дому веранды с витражами из разноцветного стекла и вознес над ним высокую башню, с верхней площадки которой открывался вид на залив. Но через полвека другой человек, обратив взор свой на север, сказал: «Граница Финляндии проходит слишком близко от нашего Ленинграда. И поскольку мы не можем отодвинуть наш Ленинград, мы отодвинем финскую границу!» Границу отодвинули, а потомки строителя дома, спасаясь бегством, дом навсегда покинули.

И вот, спустя еще одну жизнь, я, кого безымянный финн не смог бы даже предположить в своем воображении, стоял перед его детищем. В кармане моего тулупа тяжелела связка старинных ключей. Я сжимал ее в горячих пальцах.

А как случилось, что я оказался ночью за несколько десятков километров от города один перед этим домом со связкой ключей от всех его замков?

Изначальный смысл бытия. О том, что история человечества задумана не на Земле, я догадывался. Она лишь творится на ней. Хотя лучше сказать – воплощается. Замысел, возникший *там*, воплощается *здесь*. Именно потому загадка истории так притягивала меня. Я жаждал увидеть это сокрытое «там». Было время, когда я предполагал, что на развитие нашей истории неведомым образом влияют высокоразвитые цивилизации, имеющие пристанище во Вселенной. Прочитав конспект Зигеля, перепечатанный на пишущей машинке, я в течение нескольких месяцев верил в летающие тарелки. Вглядываясь в вечернее небо, красно-золотое, покрытое черными контрастными облаками, которое всегда производило на меня сильное впечатление, я мечтал увидеть эти космические аппараты, беззвучно и зловеще скользящие меж облаков, и умолял небо послать мне встречу с их обитателями. Но идея пришельцев рухнула, когда я понял – и это было самое привлекательное, – что разгадка тайны лежит за пределами материального мира. Разгадка пряталась за чертой... смерти. Чтобы подойти к ней, надо было пересечь черту. Но как это сделать, не исчезнув, не превратившись в ноль, не перестав быть, но вернувшись невредимым, с победой, держа сокровище в руках? И уже тогда я начал сознавать, пусть короткими мгновениями, всплесками воображения, невероятными фантазиями, что ответ надо искать в Небе мистическом, духовном, которое пишется с большой буквы, и что ни университет, ни вся историческая наука не помогут мне в моем деле. Как бы глубоко ни проникал человеческий разум в загадку творения, он никогда не сможет достигнуть последней отметки, исходной точки, то есть первопричины. Я читал историков и видел (нельзя было не увидеть!): поколение за поколением приходило на планету только для того, чтобы в сотый, в тысячный раз разодраться из-за ее богатства, пролить моря крови и исчезнуть с ее лица, не забрав с собой никакого богатства. Было все одно и то же, если смотреть изнутри жизни каждого отдельно взятого поколения. Но если взглянуть на совокупную деятельность нескольких сотен поколений, то таинственно, обрывками, как сыпь грозного неизлечимого заболевания, начинал проступать некий рисунок. И вот он-то уже явно создавался не летучим человеческим умом, способным ориентироваться в продолжение одной исторической эпохи, но каким-то иным, величайшим Умом, которому с высоты его знания открывалась вся панорама. С ним и желал я войти в соприкосновение. Кто он будет, я не представлял. Злым он будет или добрым, мне было все равно. Как это произойдет, я не ведал. Но мне предчувствовалось – и я

верил в мое предчувствие, – что меня однажды неожиданно озарит, как апостола Павла на пути в Дамаск; я вдруг что-то увижу, мысленный мой взор пронизет какую-то преграду и, пронизав ее, попадет именно туда, где будет ответ. У меня было ощущение, что именно для этого я родился, что именно этим желанием я отличаюсь от всех остальных людей, что я этим Умом отобразил из среды человечества для того, чтобы мне была вверена высочайшая тайна.

«Хорошо было бы уехать куда-нибудь в горы или к морю, – мечтал я, – и там, в покое и тишине, вслушиваясь в молчащий космос, проникаться его дуновением».

Я алкал сокровенных знаний. Я не лукавил. Это была правда. Но над каждой правдой есть еще правда. Большая. Со временем я понял их нескончаемость друг над другом. И большая правда заключалась в том, что я искал пейзаж для своей новой любви. А это значило, что новая любовь была для меня сейчас дороже самых сокровенных знаний.

О, как я хотел любви! Та юная женщина, светло и кратко мелькнувшая в праздничный вечер, – она была причиной и связующей события нитью! Мне все чудилось, что любовь к ней откроет мне невиданное наслаждение. И я томился по этому наслаждению. Наслаждению как познанию сущности жизни. Наслаждению как полному слиянию с нею, растворению в ней без остатка, переходу в иное, духовное состояние. Я был уверен, что испытаю чувство первозданно прекрасное, чистейшее, какое испытал первый человек Адам, впервые познав первую женщину Еву. Самая первая огненная вспышка при слиянии мужчины и женщины, озарившая разом весь мир и все изменившая. Как это произошло? Какой костер, какое пламя зашумело посреди Вселенной, озаряя ее иным, не звездным светом?

Я уже не мог представить своего счастья без этой женщины.

В течение двух недель я приезжал на ту автобусную остановку и бродил по окрестным улицам. Я забросил университет; работа в котельной, моя комната над перекрестком, книги – вдруг все надоело мне. Я понимал: искать эту женщину бессмысленно. И тем не менее я упрямо верил, что снова встречу ее. На чем была основана моя сумасшедшая вера? Я никогда прежде не чувствовал столь ярко, как навстречу мне движется любовь. Это были удивительные, очень светлые дни. Мне казалось, я осязаю ее приближение физически. И одно лишь угнетало меня: то, что однажды я уже предал эту новую любовь, один раз уже изменил ее красоте и неповторимости – ночная пьяная встреча с парикмахершей в котельной, – и теперь любовь моя не кристально чиста от самого своего начала, но запятнана. Совсем немного. Но мне мечталось, чтобы она была чиста совершенно. В ее кристальной чистоте и должна была звучать главная нота. Не падший рай – вот чем я грезил. И для этой новой любви я выбирал новый, прекрасный пейзаж. Он непременно должен быть свободен от какой-либо моей памяти. В этом пейзаже в прошлом не должно было быть ни одной женщины. Он предназначался *только* для нее.

Тогда и встретился мне старик, живописный, беловласый, одетый в теплые ватные брюки и ватник и перепоясанный флотским ремнем. Он напоминал лесного царя, не будь на нем этот ремень с рельефной пятиконечной звездой и якорем. Он шел впереди меня в туннеле подземного перехода, где людская толпа устремлялась с одной стороны проспекта на другую, и катил за собой тяжело нагруженную двухколесную тачку. Когда тачку надо было втащить на каменную лестницу, я неожиданно подхватил тачку сзади и помог ему. Он благодарить меня не стал, но так лихо подмигнул синим глазом, что мне почудилось, будто передо мной, внезапно блеснув, открылся глубокий небесный простор. Мы шли рядом и говорили. Старик охранял финский дом на Карельском перешейке недалеко от Финского залива, отданный под летнюю дачу детскому саду. Осенью, зимой и весной помещение пустовало; детей привозили в конце мая и увозили обратно в город в последних числах августа. И я вдруг спросил его: можно ли устроиться на такую же работу по соседству? «Вот куда я приведу ее!» – мгновенно понял я. «Почему нельзя? – сказал старик. – Прохор жить приказал долго. Место есть».

Прощаясь с Раскорякой, я подарил ему на память свой шерстяной свитер с широкой белой полосой через грудь, который всегда вызывал у него завистливые взгляды. Он сразу же

надел его на себя, и стеснительная детская улыбка запрыгала по его губам. Свитер был велик ему в плечах, и именно это ему больше всего понравилось.

Дом возвышался надо мною, окруженный спящими до весны деревьями.

Я взошел на крыльцо и отпер кованым ключом дверной замок.

Запах сушеных трав хранился в глухих узких сенях. Тьма была так густа, что я на секунду потерял чувство ориентации.

Я проник в комнату. Комнат было по четыре и в первом, и во втором этаже. Ближний к центру дома угол в каждой из них занимала от пола до потолка печь, украшенная изразцами. Печи были объединены в единый вертикальный столб, имеющий в сечении форму ромба и пронизывающий дом снизу доверху. Еще утром, принимая охраняемые постройки у бригадира сторожей, я был удивлен величиной дома, когда попал в эти просторные комнаты. Широкая лестница, ведущая с этажа на этаж, гладкие дубовые перила, массивные двери, тяжелые медные ручки дверей – я вдохнул в себя тревожный дух частной собственности, и пленяющий, и обескрыленный.

Я плыл между кубиками крохотных тумбочек, между рядами металлических детских кроваток. Заледенелые окна голубовато сияли в темноте, словно глаза великана, заглядывающего в дом снаружи. Что-то мягкое сжалось под моей ногой. Я отпрянул в сторону, нагнулся, чтобы разглядеть, на что я наступил, и поднял труп обезглавленной тряпичной куклы.

По деревянной лестнице я поднялся на второй этаж. Ступени кричали, пока я поднимался.

И здесь во всех комнатах стояли пустые детские кроватки.

Я остановился у двустворчатых дверей, прочно заколоченных гвоздями. Тот, кто открыл бы их, шагнул в пустоту. Балкон был разобран. Из тела дома, как две обломанные кости, торчали наружу два бревенчатых кронштейна.

Марш за маршем я взошел на самый верх башни. Она возвышалась над крышей дома на два этажа. Венчал ее железный конус с обломком иглы флюгера. Верхняя часть башни была застеклена, давая зрителю возможность кругового обзора. Старинный столик, пустая бутылка из-под вина, два стакана, забытая губная помада – воспитательницы детского сада светлыми северными ночами забывали в этой поднебесной высоте о своих оставленных в городе равнодушных мужьях, о том, что жизнь полна однообразия и труд тяжек, и лучи закатного солнца золотили их хмельные нежные очи.

Настороженно вслушиваясь в мое сильное дыхание, дом наблюдал за мной.

«Смотри!» – сказал я моей возлюбленной и ударил ладонью по оконной раме.

Примерзшее окно отворилось наружу со звуком выстрела. Тонкие пластины зеленоватого льда хрупко посыпались со стекол.

Убеленные снегом вершины деревьев стояли вровень с нашими лицами. Над горизонтом дрожащим огнем горел Сириус. И легкое облачко, пугливо озираясь на яркую звезду, быстро скользило по черному небосводу.

10. Звук имени

Она сидит напротив меня у окна. Без головного убора, в приталенной дубленке кофейного цвета; белый шерстяной шарф обмотан вокруг высокой шеи, вельветовые брюки заправлены с напуском в зимние сапоги.

Листает журнал мод.

Журнал броско разноцветен.

Иногда на секунду она поднимает карие глаза от страницы, показывая ослепительно белые белки, смотрит мимо меня в свои мысли, хмурится и поправляет волосы, проникнув в их густой поток слегка согнутыми пальцами. Ее глаза как бы выделены на ее светлом лице легкими полупрозрачными тенями, расположенными и над, и под ними. Какой великий художник сумел положить их так прекрасно и таинственно?!

Невыразимо, редчайше она красива!

Колеса неторопливо постукивают по рельсам. Медленно плывут за окном заснеженные поля, сосновые перелески, желтые трансформаторные будки, линии высоковольтных передач... Последняя предновогодняя неделя. Небо закрыто слоистыми тучами. Временами сквозь них просвечивает мутное пятно солнца.

В вагоне тихо. Пассажиры играют в карты, читают, спят.

Я смотрю в окно, затем на пассажиров, и всякий раз мой взгляд пролетает по ее наклоненному лицу.

Наконец вокзал!

Мы идем рядом.

Я касаюсь рукава ее дубленки.

Ее глаза так близко передо мной! Яркие, наполненные живым блеском!

– Вы не узнаете меня?

Быстро меня разглядывает.

– Вы ехали в электричке.

– Да. Но раньше... Мы виделись раньше.

– Я не помню.

– В день празднования Октябрьской революции. На набережной Невы.

– С этим что-то связано?

– Совсем ничего. Мы не сказали друг другу ни одного слова. С вами была девочка лет тринадцати.

– Мы ходили с сестрой.

– И потом я ехал с вами в автобусе и отстал. Я искал вас.

– Искали? Для чего?

– Я хотел увидеть ваше лицо еще раз.

Нас толкают сразу с двух сторон: справа – поток людей, идущих к вагонам, слева – идущих от вагонов.

– Разрешите мне пойти с вами?

– Я иду встретить близкого человека.

– Тогда дайте мне ваш адрес или телефон. Я боюсь потерять вас снова.

Она постигает слово «боюсь».

– Хорошо. Вот он!

Я записываю номер шариковой ручкой на своей ладони.

– Как вас зовут?

– Ирина, – не сразу, как бы преодолевая невидимую преграду, произносит она.

Толпа людей оттесняет ее в сторону, затягивает в свой водоворот, и она не противится этому.

Всё, что осталось у меня, – цифры на ладони.

Цифры на ладони – она.

И теперь, спустя столько лет, я помню то сильнейшее волнение, то ликование, которое бушевало во мне, когда пройдя по проходу вагона и осматриваясь, она села на свободное место напротив меня.

Она нашлась! Она явилась сама! И она села именно напротив меня! Ведь были и другие свободные места.

Даже сейчас, оставляя за пером эту строку, я испытываю волнение!

Еще одна драгоценность в моей памяти – та короткая пауза перед произнесением имени. Имя – ключ к ее образу, имя сокровенно, оно – ее тайна, его открыть труднее, чем номер телефона.

Я сразу позвонил ей.

Разумеется, ее не было дома. Но медлительно-распевный женский голос сообщил мне, что она будет к пяти часам вечера, и неожиданно спросил:

– Это Юрочка?

Я замешкался, не зная, как ответить о себе.

И вдруг я понял, что сегодня же могу увидеть ее.

Канал был во льду, и набережная таинственна и темна. Кое-где чернели ледяные катки, до блеска раскатанные школьниками.

Я шел вдоль решетки канала. Чем ближе придвигались цифры номеров на домах к тому числу, которое я узнал по телефону, тем нетерпеливее билось мое сердце. Сам городской пейзаж, затаившийся в зимних сумерках, сама тишина сумерек, когда в неподвижном воздухе слышны шаги и хруст снега и, кажется, улавливаешь в каждом звуке сразу и прошлое и будущее, ибо все вокруг тебя странно, неясно, расплывчато, вызывали во мне восторг.

Этот дом!

Трехэтажный, приземистый, как бы вросший в заснеженный земной шар, он стоял на углу пересечения двух замерзших каналов. Он был тяжеловесен и непородист. Усталость таилась в его серых стенах. И своей бездарностью он вызвал во мне чувство недоумения.

Напротив парадной находился плавный спуск к воде; собачьи следы, оставленные на снегу, вели вниз, на лед канала. Я встал возле перил и, глядя на окна третьего этажа, начал гадать, какие из них принадлежат ей. Два горящих окна были завешены порттьерами, третье – темное – блестело стеклами, в четвертом не было видно ничего, кроме освещенного угла стены и края висящей на стене картины. Мгновение, и оно погасло.

Я пересек мостовую, вошел в парадную и, запрокинув голову, посмотрел вверх.

В высоте над лестничным провалом ярко сиял потолок.

Я поднялся.

Свет исходил от огромной голой лампочки, вкрученной в пластмассовый патрон. И этот сильный ослепляющий свет подробно освещал исцарапанные рисунками стены, квартирные двери и пыльные балясины перил.

– Мама, где мои варежки? – услышал я совсем близко за дверью голос девочки-подростка и женский медлительный голос:

– Настя, я не знаю, где они.

Сердце мое радостно расширилось.

– Но я положила их здесь, мама, я хорошо помню!

Я быстро вернулся к решетке канала.

Снег вокруг меня игольчато сверкал. Уличные фонари, одновременно включаемые во всем городе, были зажжены.

Дверь парадной хлопнула, возвращенная сильной пружиной, и на набережную выбежала девочка-подросток в кроличьей шубке и шапке ушанке. Под мышкой она неловко зажимала картонную папку, в каких художники носят большие листы бумаги. Натягивая на ходу варежки, она скрылась за углом дома. Это была сестра Ирины.

И сразу я увидел Ирину.

Такая же, какой я встретил ее в электричке несколько часов назад, с так же распушенными волосами, только еще более таинственная от контраста вечерней полутьмы и лучистого искусственного света, она неспешно шла под руку с очень высоким парнем, одетым в длинное кожаное пальто и дорогую меховую шапку. Пальто блестело, словно было мокрым.

Быстро повернувшись к ним спиной, я спустился по спуску вниз, чтобы они не могли увидеть меня, и оттуда стал наблюдать за ними.

Они остановились возле ее парадной и разговаривали. Больше говорил парень, а она слушала. Потом она порывисто обняла его за шею и, приподнявшись на носках, потянулась губами к его губам. Она целовала его долго, желанно и все не отпускала. Наконец, легко отстранившись, махнула ему на прощанье рукой и исчезла за дверью. Парень некоторое время постоял в раздумье, вынул из кармана сигареты, прикурил и пошел прочь.

В сторожке было темно. И душно. Я сидел на кровати, накинув на плечи тулуп. За мелкими круглыми отверстиями печной дверцы светились раскаленные угли. Пахло крепким кофе, который я сварил в пол-литровой кастрюльке, оставшейся мне в наследство от Прохора.

«Какие нелепые несоответствия! – думал я. – Уродливый усталый дом и ослепляющий свет в его каменном чреве.... И она в этом доме. Ее красота».

И опять, и снова она приподнималась на носках и тянулась губами к губам рослого парня! И опять, и снова она была так близка к нему в этот момент, к его груди, лицу, дыханию, так близка!

Я сбросил с плеч овчинный тулуп, надел куртку и кинулся на станцию.

На мое счастье, телефон на станции не работал, иначе я натворил бы немало глупостей.

Неторопливо брел я обратно по пустынной дачной улице, один меж параллельных деревянных заборов и снеговых отвалов.

Небо сверкало звездами. Но мне было плевать на звезды.

Придя в сторожку, я разделся и лег спать, свернувшись калачиком.

Прохор умер во сне. Лесной царь рассказывал мне о его смерти. Рано утром, когда он зашел к Прохору за спичками, тот был уже мертв. Он лежал на кровати поверх одеяла, свернувшись, как ребенок калачиком, и на его лице была улыбка. Я тогда переспросил: «Гримаса?» Лесной царь ответил: «Улыбка. Тихая».

Закрыв глаза, я улыбнулся и увидел в темноте свое лицо, искривленное гримасой.

«Живым может считаться лишь то, что имеет свою собственную волю. Все то, что не имеет этой свободы, нельзя признать не только разумным, но и живущим. Быть живым и быть свободным от чужой воли – одно и то же. Таким образом, жизнь не программируется вперед. И никогда не была запрограммирована. Ни на один шаг, ни на одно мгновение! А если она запрограммирована, то я мертв, и все мертвы, и всё мертво. Но как понять: “В книге Твоей записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было”? Или Давид не был пророком? И мы лишь конструкции, созданные гениальным Инженером, персонажи, придуманные великим Драматургом, марионетки... То есть – мертвецы».

Уже засыпая, сквозь тонкую завесу сна я слышал, как кто-то беспокойный, мятущийся твердит в центре моего мозга:

– Но женщина! Женщина! Что же тогда женщина?

– Завтра я все это разрушу! – отвечал я. – Завтра! Едва встану... Утром...

Утро.

Она быстро шагает мне навстречу.

Волосы убраны на затылке в узел. Небольшая зимняя шапка из куницы чуть надвинута на лоб. Руки спрятаны в карманы дубленки. Белый косматый пар трепещет возле ее губ.

И опять при взгляде на нее меня мгновенно охватывает приступ сильнейшего счастья.

– Пойдемте по набережной! У вас есть время? – бело-голубой с золотыми крестами собор, канал в сплошном грязном льду, осторожность наших шагов... Мой голос кажется мне чужим. – Вы живете недалеко от меня. Вся дорога: через Неву по мосту лейтенанта Шмидта и здесь вдоль Новой Голландии.

Она внимательно молчала.

– Ирина! – наконец заговорил я неловко, скомкано, чувствуя, как все напряглось во мне и движения мои стали неестественными. – Тогда, во время праздничного салюта... На Дворцовой набережной... Дело не в словах. Тем более... Это всегда считалось... Это сразу умаляет то, что хочешь сказать. Потому что... Да я вам все сказал на вокзале. Ваше лицо тогда в толпе... Скажите, кто был молодой человек высокого роста, который вчера провожал вас домой?

Она быстро взглянула на меня.

И я понял, что последнюю фразу тоже произнес вслух.

– Откуда вы знаете, что кто-то провожал меня? – спросила она.

– Так получилось случайно, – ответил я. – Я еще вчера узнал ваш адрес и пришел сюда, чтобы увидеть вас. Я не знал, что вы вернетесь не одна. Я ждал вас на спуске канала против вашего дома.

Она остановилась.

– Послушайте! – сказала она хмуро, а я подумал, что она сейчас увидела моими глазами, как взмахнула целовала своего парня. – Мне это не нравится. Почему вы ждете меня без моего согласия? Следите за мной. Я опрометчиво дала вам мой телефон. Это произошло произвольно. Потому что вы его попросили. Но я отвечу на ваш вопрос: человек, который провожал меня, скоро станет моим мужем.

– Нет, – моментально проговорил я. – Этого не будет.

– Что значат ваши слова? – спросила она беспокойно.

– Этого не будет, – задыхаясь, повторил я. – Вы не станете его женой.

И улыбнулся.

Очевидно, лицо мое сильно изменилось. Я был ей неприятен, я это болезненно ощущал.

Внезапно я *услышал*... Ее глаза зашумели. Они до краев наполнились все нарастающим шумом.

– Кто дал вам право так говорить?! Решать за меня! Откуда у вас такая уверенность? – сказала она.

– Потому что вы – только моя, – произнес я дрогнувшим, изменившим мне голосом. – И никогда ничья больше.

Ее вопрос был неожиданным:

– Где вы узнали об этом?

Я молчал.

Внезапно меня охватила тяжелая тоска.

– Я так чувствую, – рассеянно ответил я.

Шум в ее глазах стих.

Она посмотрела на меня досадливо, как смотрят на мелких обманщиков, и сказала:

– Уходите!

Слово это обвило собой мое горло и стало твердым.

Я указал ей рукой на заснеженный сад на противоположной стороне канала и услышал свой голос:

– Завтра с шести утра в любой мороз я буду ждать вас на скамье у Морского собора. Я буду ждать до тех пор, пока вы не придете.

11. У Морского собора

Когда я вошел в сад, часы на колокольне пробили один раз. Было около шести часов утра. Потом, за долгое время сидения на скамье, я установил, что бой часов не соответствует показанию стрелок на циферблате. Стрелки показывали правильное время, а колокола отбивали, как им заблагорассудится.

Было темно и безлюдно. Все вокруг оледенело. Расплывчато сияли фонари.

Мои расчеты, конечно же, были абсурдны – я не знал, появится ли Ирина на набережной канала. Но я предполагал, что она может пойти по ней на работу к восьми или девяти часам утра, а если она не работает, а учится, то поспешит к этому же времени на учебу.

Чтобы сесть на заледенелую скамью, надо превозмочь в себе безразличность к холоду и замерзшей влаге.

Вдруг я увидел... Полная силы жизни и горячего дыхания, она крепко спит в сотне метрах от меня, под теплым мягким одеялом, и в глубине ее глаз текут, одна за другой, объемные картины сна.

Мне захотелось войти в ее сон.

Чтобы она увидела меня в своем сне.

Из расплывчатых мечтаний я был вырван звонким скрежетом железа. С двух сторон сад и собор огибали трамвайные пути. Первый трамвай гремел колесами о рельсы, поворачивая сначала на одном повороте, а затем на другом.

И с этого трамвая началось утро.

Медленно оно рождалось из замкнутой тишины ночи. Стволы деревьев начали терять черноту, блеск льда потускнел, то тут то там стали появляться прохожие, замелькали за пределами сада легковые автомашины, дохнуло автобусной гарью, владельцы собак вывели на прогулку своих догов, пуделей, овчарок, алая струя света потекла в высоту... И вдруг шпиль колокольни и кресты на куполах собора ярко зажглись с восточной стороны.

«Солнце взошло над городом!» – подумал я и, как всякий житель Земли, испытал от этого радость и тут же понял, что это значит для меня, что уже около десяти часов утра и что Ирина уже прошла за моей спиной.

Я сидел лицом к собору и спиной к набережной канала. Я специально так сел, чтобы у меня не было возможности высматривать ее, и лишь она обладала возможностью увидеть меня.

Теперь, если мои предположения могли хоть как-то осуществиться, она должна была пройти по набережной, возвращаясь с работы или учебы, не раньше трех часов дня.

Я промерз до костей и хотел есть. Глупо я поступил, что не взял с собой термос с горячим чаем и бутерброды. Но тут же я понял, что лукавлю: такая мысль у меня возникала, но я нарочно не взял ни термос, ни бутерброды; мне казалось, что чем труднее будет мне выполнить мое обещание, тем вернее сбудется то, чего я хотел.

Я почувствовал на себе взгляд.

Крупный пожилой мужчина, одетый в зимнее пальто и папаху, стоял ко мне боком, делая вид, что смотрит прямо перед собой, но прищуренные глаза на его рыхлом лице, разделенные непропорционально маленьким по отношению к величине щек носиком, были скошены в мою сторону. Белая болонка семенила подле него. Я вспомнил, что недавно видел ее рядом с собой. Она подбегала к моим ногам и обнюхала мои сапоги.

Узрев, что я обнаружил его наблюдение за мной, мужчина отвернулся и, пройдя по аллее метров тридцать, подозвал к себе собачку, которую незачем было подзывать, потому что она не отставала от него, и опять искоса кинул взгляд в мою сторону.

Не знаю, какие подозрения успели родиться в его голове, но я испугался, что попадаю в пошлейшую ситуацию. Никому не запрещено сидеть на замерзшей скамье хоть неделю, но все

это может иметь для меня самые неожиданные последствия, если он вызовет милицию. Что я скажу в свое оправдание? И кому? У меня даже документов, удостоверяющих мою личность, нет с собой. А главное, для разбирательства мне придется уйти отсюда.

Я встал, хотя мне не хотелось ни на минуту покидать скамью, подошел к нему и спросил закурить. Он ответил, что бросил курить. Я похвалил его за столь волевой поступок и проследовал по аллее дальше. Спиной я видел, как он смотрит мне вслед.

Двери в собор были приоткрыты.

Я вошел в благовонную тьму.

Плоские своды прочно лежали на низких столбах. Нижний этаж собора напоминал замкнутое, словно бы ограниченное снизу и сверху палубами нутро военного корабля. Нечто корабельное ощущалось и в латунных перилах, ограждавших иконостас, и в приставных металлических лестницах перед высоко повешенными иконами.

В соборе было пусто. Закутанная в толстые шерстяные кофты служительница продавала за прилавком свечи, и три человека стояли молча, держа снятые шапки в руках и склонив головы, в самом конце анфилады сумрачных залов перед гробом, возвышенным на деревянной скамье.

В переливчатом блеске стекол, которыми были закрыты иконы, в точечном сверкании лампад я ходил меж низких вертикальных столбов, одурманенный человеческим голосом, отпевавшим кого-то, кто уже не мог слышать ни этого голоса, ни шуршащего потрескивания свечей.

«Это не я там лежу в шестигранном деревянном ящике, – ответил я звучащему под сводами голосу. – У меня другая судьба. Ты сам знаешь об этом. Я только изучаю смерть».

И не оглядываясь, я вышел из собора.

Теперь я стал терять тепло быстрее. Я чувствовал, как с каждой минутой оно невосвратно уходит из меня.

Конечно, проще было написать Ирине письмо. Но я знал: письмо ничего не изменит. Она сказала: «Этот человек скоро станет моим мужем». Нужен поступок. Чтобы она *увидела меня*. А она видит его.

Однако странно... И вот чего я не предполагал: любовь, которая представлялась мне высшим благом, сверкающим светом, начиналась с борьбы.

Вокруг меня жизнь текла своим чередом – молодые мамы катали младенцев в разноцветных колясках, в соборе шли службы, за пределами сада двигались автобусы и трамваи, горожане куда-то спешили, перемещались из одной улицы в другую, из района в район, а я среди всей этой живой, вращающейся вокруг меня жизни один сидел на скамье и сидением на скамье совершал какое-то странное и, возможно, противозаконное действие. Усилием воли я хотел воздействовать на свою судьбу. Но если я сопротивлялся, то не себе же самому, но кому-то, кто был властен над моей судьбой. Он начертал ее по своему замыслу, я хотел начертать ее заново. По-своему. Да, сидением на скамье я пытался связать в том не зримом глазами, сокрытом от людей узоре судеб человеческих две нити – ее и себя!

Сила желания! Наверняка за каждым из нас стоит так много не видимого ни другими людьми, ни нами самими. И оно, это невидимое, и решает нашу судьбу.

Стемнело вдруг, без того недолгого промежуточного состояния полумрака-полусвета, когда крыши домов уже слиты в единый черный силуэт, но небо еще светло над ними.

Опять зажглись уличные фонари.

И мне показалось, что, как и утром, трамваи стали звенеть громче.

Я сидел без движений, стараясь дышать медленно и мускулы держать расслабленными. Короткий вдох и долгий длинный выдох, очень долгий и очень длинный, потому что во время выдоха тело изнутри как бы омывается теплом.

Еще раз сад наполнился человеческими окриками и лаем собак. С белой болонкой гулял школьник, и ему не было до меня никакого дела.

Остановившись под прямым углом друг к другу, стрелки на часах показали девять часов. Потом большая из них сорвалась со своей высоты, и сразу стало половина десятого.

И вдруг я понял, что не существую для Ирины. Что она даже не думала обо мне во все эти часы, которые я провел на скамье!

И еще – и это было мучительнее всего – что я уже с этого места не сойду.

Меня валило в сон.

«Интересно, пальцы можно будет отогреть? Я еще шевелю ими, – спрашивал я себя. – Что здесь было раньше, на этом месте? На каком месте? На том, на котором я сижу и жду ее. Болото было. Зимой – замерзшее, летом – гнилое, комариное. Волки здесь выли, и чухонцы занимались рыбной ловлей. Вот все, что было здесь триста лет назад. А сто тысяч лет назад здесь возвышался ледник высотой в несколько километров. А до ледника были тропики. Пышные тропические растения, гигантские змеи, разноцветные птицы. И было жарко, душно, очень жарко и очень душно, влажно и жарко. А теперь стоит огромный город с железными мостами через реки, с прорытыми под землей туннелями метро, с заводами, магазинами, вокзалами, больницами, тюрьмами, ресторанами, с утренними и вечерними газетами, телевизионной и радиостудиями, с могущественной противоракетной защитой и с этой самой оледенелой скамейкой, на которой я сижу. А что, собственно, важно для меня во всем этом? А важно для меня то, что я ужасно замерз и хочу открыть тайну тайн – для чего все это на этом самом месте, где я сижу, было до меня, есть со мной и будет после меня. Совсем немного времени пройдет – я уверен, его судьба не будет долгой, – и этого города опять не станет, не станет так, словно его не было никогда, и не будет ни этих улиц, ни этих вокзалов, ни этих газет... Где же буду я тогда, когда вся эта декорация, в которой протекала моя жизнь, исчезнет и тело мое, которому сейчас так холодно, станет прахом? И зачем я все это сделал, и делаю, и не могу прекратить делать?.. Что сделал? Сел на скамью и замерзаю. А вот зачем: ее лицо очень красиво!»

Я открыл глаза и увидел перед собой пустой сад в снегу и за ним собор, освещенный электрическими огнями.

«Иван Грозный защищал истинную православную веру и с Малютой Скуратовым насиловал и убивал женщин... Все сплетены в единую ткань – чистые, грязные, гениальные, бездарные, святые, грешные, жертвы, палачи, и ни одну ниточку не выдернешь. Не в наших это силах. Нас несколько миллиардов, но мы не можем выдернуть сами ни одной ниточки. А что мы можем сами?»

Шаги...

Из ледяного беззвучия они возникли за моей спиной.

И я сразу услышал их.

Они были направлены не мимо меня, не к какой-то другой цели, но именно в мою сторону.

Здесь, сейчас, я был единственным владельцем этих приближающихся шагов, и снега, скрипящего от их осторожной легкой поступи, и обширного неподвижного воздуха, в котором они звучали, и всего пространства вокруг – ибо та, которая их совершала, шла в этом полутемном вечернем пространстве ко мне.

Она остановилась возле меня – секунда абсолютной сгустившейся тишины – и села на скамью.

За пределами моего зрения она трогала ремешок своей сумки.

Воздух вспыхивал длинными искрами.

Я сидел, сильно наклонившись вперед, спрятав кисти рук в противоположные им рукава куртки – левую кисть в раструб правого рукава, правую – в раструб левого.

– Я боюсь вас, – проговорила она.

Я повернул к ней лицо.

В ее глазах таилась тревога, но было в них и восхищение, как будто, преодолевая страх, она спрашивала: «Если это способно проявляться так сильно, я хочу знать главное!»

– Я очень замерз, – с трудом вымолвил я.

Внезапно от молчания как близки мы стали!

– Сегодня сильный мороз, – произнесла она неловко и, пытаясь выйти из этой неловкости, добавила: – Я зашла сюда случайно, я говорю вам правду. Я могла не прийти.

– Я все равно ждал бы вас, – сказал я. – Но в том, что вы – рядом, моей заслуги нет. Я знал, что вы придете.

– Почему знали? – спросила она тихо, без вчерашнего раздражения, без гнева, почти задумчиво.

– Потому что вы родились для меня. Мне надо было только найти вас. Я нашел.

Она ничего не ответила.

О чем-то думала.

– Пойдемте! – сказала она. – Вам надо согреться. Вы заболите.

«Она его не любит», – понял я.

В полутьме пустого сада она плыла рядом со мной.

Снег трещал так визгливо, словно мы ступали по осколкам стеклянных бокалов.

Громада колокольни, накрываясь в воздухе, упала позади нас длинной тенью.

От сильного переохлаждения и голода сознание мое мгновениями затуманивалось. И когда Ирина наконец остановилась у двери квартиры и достала из кармана ключи, у меня закружилась голова...

Чем повеяло в мое лицо, губы, ноздри вместе с теплом из этого жилища? Терпким ароматом свежей хвои и медовым запахом акварельных красок.

«Здесь и должно пахнуть хвоей и медом...» – вспомнил я.

Из не видимых мною комнат навстречу нам в коридор вышла хрупкая, очень стройная женщина лет сорока пяти, с точно такими, как у Ирины – яркие белоснежные белки! – карими глазами и с еще более густой, чем у дочери, лавиной волос, собранной на аккуратной ее голове в тяжелый узел.

Женщина была в зеленом вязаном костюме, сильно приталенном, отделанном черным и делавшем ее еще более миниатюрной. Колье из необработанного янтаря охватывало ее высокую и неожиданно по отношению к лицу старую шею. На пальцах обеих рук блестели серебряные кольца.

– Это моя мама, – сказала Ирина. – Ее зовут Елена Васильевна.

«Ее мать и должна быть такой замечательной женщиной...» – подумал я.

Елена Васильевна долго с нескрываемым любопытством разглядывала меня, изучая мои черты, и промолвила удивленно:

– Где вы так страшно замерзли?

– В саду. У собора.

– У Николы Морского?

– Да.

– Зачем же вы не зашли к нам сразу? Я все время была дома. У нас всегда кто-нибудь есть дома.

Она внимательно наблюдала за тем, как я неловко – руки плохо слушались меня, – снимал куртку, вешал куртку на крючок.

Вдруг она коснулась своими легкими пальцами моего лица.

– Вы – совершенный лед! – в ужасе воскликнула она. – Вас надо немедленно отогреть, иначе вы получите воспаление легких. Ириша, надо сделать молодому человеку горячую ванну!

– Не беспокойтесь! – испугался я. – Мне достаточно отогреть пальцы рук. Они у меня были отморожены.

– Тогда – много горячего чаю! С водкой!

Ирина провела меня в ванную комнату.

И сейчас же она ушла. Мы не сказали друг другу ни одного слова.

Вдруг я увидел свое лицо в настенном зеркале над раковиной умывальника. Я никогда прежде не видел у себя такого страшного лица. От холода оно было черно. Глаза болезненно блестели в глубоких темных впадинах, и под ними серели вздувшиеся мешки.

– Ириша, где у нас водка? – слышал я голос Елены Васильевны. – У нас было четверть бутылки водки. Я хорошо помню.

– Мама, у нас давно нет той водки, – отвечала Ирина.

– Тогда что же у нас есть?

– Не знаю.

– Вино есть?

На натянутой над ванной леске сушилось несколько пар женских капроновых чулок и ночная рубашка. На полочках стояли в фигурных флаконах шампунь, эликсиры, из граненого стакана торчали щетиною вверх разноцветные зубные щетки, рядом лежали зубные пасты в бело-синих тюбиках и расчески для волос.

– А как получилось, что молодой человек так страшно замерз? – доносился издали голос Елены Васильевны.

Я вышел из ванной.

Прислоняясь спиной к стене, Ирина молча ждала меня. Она была в клетчатом домашнем платье. И в этом простом платье она показалась мне еще более прекрасной. И очень близкой. Как бы уже моей. Она была похожа на свою мать и в то же время совсем другая – в ней не было миниатюрности, но все было крупное, красивое, женское. И она очень хорошо стояла, прижавшись к стене затылком и ладонями спрятанных за спиною рук.

– Пойдемте в ту комнату! – сказала она. – Там самое теплое место в нашей квартире.

Мы вошли в небольшую комнату, все стены которой были завешены рисунками и акварелями. В углу поблескивала высокая елка, сочно-зеленая, украшенная сверкающими шарами, серебряным дождем и серпантинном.

Ирина придвинула кресло к батарее парового отопления.

– Я принесу чай, – сказала она.

– Посидите со мной, – попросил я.

Как бы не услышав моих слов, она быстро вышла – в дверях мелькнуло краем ее платье, и мне почудилось, что я когда-то уже переживал это мгновение.

Дверной звонок отзвонил домашний пароль – два длинных, два коротких.

– Лень было ключ достать? – отчитала Ирина кого-то.

– Хочу есть! И спать! – был ответ.

«Ее сестра», – понял я.

Потом я вдруг глубоко провалился в сон и моментально из него вынырнул.

И сразу что-то случилось...

Случилось вот что: в комнату, где я сидел, заглянула девочка-подросток. Некоторое время она удивленно и недобро смотрела на меня, а я смотрел на нее.

– Привет! – сказал я.

Она сердито шмыгнула носом и исчезла.

Ирина принесла чай. В моих руках возникла белая пол-литровая пиала с горячим чаем, в котором было, наверное, полстакана крепленого вина.

И опять я остался в одиночестве.

Она не задерживалась рядом со мной, спешила уйти, я это чувствовал; может быть, она стеснялась меня, может быть, слишком неожиданным оказалось для нее все случившееся сегодня и она еще плохо понимала, что происходит с нею или что уже произошло.

Потом возле меня появилась ее мать и долго непрерывно говорила, то чуть замедляя фразы, то убыстряя их, о том, что ей очень хочется настоящего праздника и такой праздник у них скоро будет – Ирочке сделано предложение, и хотя все это еще держится в тайне, она, как хозяйка дома, надеется, что я тоже буду на свадьбе. И она вдруг спросила, как мое имя-отчество.

Потом я увидел, что сплю и никого со мной нет.

На письменном столе горел ночник в виде маяка.

Я растаял. Я растекся, как огромное теплое море. У меня больше ничего не болело. Только пальцы на руках покалывало нежными мелкими иголочками. Они были единственным, что во мне еще принадлежало тому земному миру, где существовали холод и боль. А все остальное стало бесформенным, безбрежным, призрачным.

Я слышал голоса за стеной.

– Тише, ты разбудишь его!

Это был ее голос. Это она обо мне говорила сестре.

– И пусть! Пусть он уходит! Я не хочу, чтобы он оставался!

Девочке не хотелось, чтобы я спал в ее комнате.

– Настя, замолчи!

Я узнал голос Елены Васильевны.

Снова голос Ирины:

– Ты в состоянии понять, что человек замерз? Как можно выгнать его, глядя на ночь, на улицу на мороз!

Голос сестры:

– Тогда пусть он спит в твоей комнате с тобой!

Опять я куда-то провалился... Но удара не последовало, потому что пропасть была бездонна.

«Эту елку они купили сами, или ее кто-то принес им? – размышлял во мне мой двойник. – Я сплю в ее доме, в котором звучит ее голос. Вот что случилось со мной под Новый год! Кому я это говорю?...»

Белая башня.

Из больших тысячетонных камней.

Поставленные друг на друга гигантские параллелепипеды. И гигантские белые арки.

Такой башни никогда не было в Петербурге.

Такой башни нет в Нью-Йорке и в Берлине.

Такой башни вообще не будет построено на земном шаре.

Но я знаю: это моя башня. В далеких прежних жизнях я возвел ее над планетой, устремив сквозь облака в небо.

Над башней пылают созвездья.

Марш за маршем я поднимаюсь по каменной лестнице.

Сколько ярусов в этой башне? От сознания их количества мне не по себе, и я не смотрю вверх, чтобы не увидеть, на какой высоте я скоро окажусь. Я знаю: мне надо идти вниз, мне надо немедленно повернуть обратно! Чтобы спасти себя! И вместо этого продолжаю подниматься.

Какая-то сила довлеет надо мной. Она словно говорит мне: ты ведь и строил ее до звезд. Цель была: достроить до звезд.

Вдруг прямо с лестничной площадки сквозь зияющий пролом я выхожу на тускло освещенную улицу.

Откуда эта улица в небе?

Трамвай, сверкая красным и серебряным, проносится мимо меня.

Я шагаю по трамвайным путям – на мне военно-морская матросская форма: черные брюки, голландка с синим гюйсом, бескозырка с лентами – и вместо продолжения улицы вижу темную забетонированную равнину, совершенно плоскую, вспыхивающую слабыми жемчужными всполохами. Город кончился. Трамвай... Где он? Он был полон людьми. Я успел заметить. Лица изнутри вагонов были прижаты к стеклам, носы расплющены, и глаза широко раскрыты.

Я вглядываюсь в темноту.

В глубине ее вспыхивает солнце и стремительно начинает увеличиваться в размерах.

В несколько мгновений оно превращается в гигантский огненный шар.

Пространство вокруг озаряется мертвым светом.

Ни одного здания. Ни одного дерева. Ни одного человека. Бетонной равнине нет предела.

«Взрыв!» – понимаю я.

И осознаю одновременно, что смотрю на цветной плакат с изображением атомного взрыва и описанием факторов ядерного поражения.

«Я ведь знал, что это свершится!»

Я отворачиваюсь от кипящего огня и бросаюсь назад в город, чтобы оповестить его спящих жителей.

Но вместо того чтобы кричать «Война!» – я кричу:

– Свет! Яркий свет!

Тело мое становится прозрачным.

«Сейчас мне откроется тайна тайн!» – понимаю я.

И вижу ночник и новогоднюю елку, украшенную сверкающими в сумраке шарами.

Глухая тишина.

Сердце мое колотится бешено.

Страх охватывает меня с ног до головы.

Меня знобит.

Я понимаю: у меня сильный жар.

Мне не хватает воздуха, меня подташнивает, и мне мучительно хочется в туалет.

«Надо поскорее уйти отсюда! – лихорадочно соображаю я. – Мне может быть плохо. Мне надо уйти как можно быстрее!»

Я рывком вскочил. В глазах моих потемнело, и несколько секунд я стоял, вцепившись руками в спинку кресла.

Я увидел на полу одеяло. Значит, они укрыли меня. А девочка легла спать в другой комнате.

Ощупью я пробрался через коридорчик к входным дверям, отыскал свои сапоги и в темноте стал надевать их, присев на корточки и чувствуя прилив крови к голове.

Вдруг я услышал шаги. Ее шаги я мог теперь отличить даже среди звучания еще миллиона других шагов.

Она вышла из своей комнаты в коридорчик и зажгла свет.

Поверх длинной ночной сорочки на ней был фланелевый халат, отвороты которого она сжимала пальцами левой руки у горла.

Мы смотрели друг на друга молча. Я смотрел на нее снизу вверх, и мне представилось, что она может сейчас принять меня за проходимца, воришку, который скрытно ночью уходит из ее дома.

– Простите меня, – сказал я. – Я заболел.

Я поднялся, и опять в глазах у меня потемнело.

Она, видимо, заметила перемену в моем лице, произошедшую в этот момент.

– Зачем же вы уходите? Я не гоню вас, – сказала она.

– У меня высокая температура. Я не хочу, чтобы я был болен в вашем доме.

Я протянул ей руку, и она инстинктивно подала мне свою, и когда наши руки соединились, то она странно взглянула на меня.

– Господи, у вас под сорок!

– Я справлюсь, – сказал я. – Вы только, пока я буду болеть, не выходите замуж.

– Вам никуда нельзя идти! Вам нужно срочно вызвать врача!

– Я вернусь к вам. Я не могу не вернуться. Вы только не выходите замуж. В вашем доме я хочу быть здоров. Только светлое... И никакой тьмы...

Я, видимо, говорил бред.

Надев куртку, я отодвигался к дверям, я все отодвигался к ним, бесконечно удаляясь от нее, и наконец увидел, что стою на канале возле дерева, прижавшись к нему горячим лбом, и смотрю, как от заледенелой коры дерева струится пар.

Внезапно мне стало легче, и мне показалось, что страх покинул меня.

Судя по венчикам вокруг горящих фонарей, мороз был очень сильный.

Надо было возвращаться в комнату на Васильевском острове. Но я решил ехать за город.

У перекрестка рычал военный тягач.

Я стукнул по дверце высокой кабины, солдат водитель открыл мне, и сразу я увидел, что выхожу на площадь перед вокзалом.

Посреди пустого пространства в перекрестных лучах прожекторов сверкал памятник Ленину на броневику. Вождь величественно реял над боевой машиной, покрытый снегом и льдом. В ослепительных потоках света он был торжественен и одухотворен...

Снова я увидел себя уже идущим среди деревянных домов и сказочно красивых белых деревьев.

Вдруг сильная радость охватила мое сердце – я уезжал один, а вернулся с Ириной. В этом пейзаже отныне нас было двое.

Не спеша, я дошел до сторожки Лесного царя.

Царь фанерной лопатой расчищал проход от снега.

Я остановился рядом с ним и, покачиваясь, начал молча смотреть, как он работает.

Он воткнул лопату в сугроб и внимательно поглядел на меня.

Мне стало смешно.

– Здравствуй, Лесной царь! – сказал я.

И понял, что он должен быть очень удивлен тем, что я назвал его Лесным царем, потому что я всегда называл его по имени-отчеству – Николай Николаевич.

– Здравствуй! – ответил он.

Я хотел сказать ему:

«А все-таки я связал в том узоре две нити!»

Но вместо этого произнес, улыбаясь:

– Многое человек может...

Деревья длинным строем быстро поплыли мимо меня, и я легко, безболезненно, как в пух, повалился в мягкие, белые, холодные, безбрежные снега.

12. Мария

Поезд опоздал и пришел в Ленинград в половине первого ночи.

Отец и мать встретили меня у вагона.

Мы ехали в полупустом троллейбусе, мать сидела рядом со мной, трогала меня руками, мои волосы разворащивала, меня целовала, а отец молчал и был угрюм. Я догадался: они в ссоре.

– Ты скучал без нас? Ты пил парное молоко? – спрашивала мать и восклицала: – Как ты вырос за лето! Господи, у тебя уже седые волосы попадаются!

Я смотрел в окно, забрызганное каплями мелкого дождичка; то черный, то ярко освещенный, проплывал за ним мокрый город, и я испытывал чудесное ощущение нереальности происходящего. Ранним утром я находился в далекой русской деревне, сквозь туман блестело солнце, шумным колышущимся стадом шли вдоль заборов коровы, и вот... Лето позади, прерывисто завывает электродвигатель, в железном ящике что-то громко щелкает и вспыхивает вольтова дуга.

– А знаешь, – говорит мать, – у нас новые соседи. Люди очень приличные. Он – инженер, она – учительница в школе, еще полуслепая старушка – его мать и двое их детей. Старший учится в Москве в университете, а девочке, как и тебе, двенадцать лет. Она занимается музыкой. Ты ведь любишь музыку?

– Да, – машинально отвечаю я.

И утром просыпаюсь от звуков фортепиано.

Первое, что воскрешает моя память, – самолет-истребитель, который я видел вчера во время стоянки поезда в лесу на глухом разъезде. Самолет был закреплен тросами на одной из грузовых платформ товарняка, вставшего напротив нас. Крылья у самолета были сняты, но и обескрыленный он вызвал мое восхищение. Я спрыгнул на землю и между путями подошел к нему. Тайна его заключалась в том, что, как и я, он был тяжелее воздуха, но умел летать. Он *бывал в небе*! Проводница начальственным криком загнала меня обратно в вагон. Тогда я бросился к своему месту, достал из чемоданчика фотоаппарат, подаренный мне отцом на день рождения, и, прильнув к окну, сфотографировал истребитель. «Погоришь! – сказал мне человек с верхней полки. – Он секретный». Другой человек с другой полки заметил: «Секретный закрыли бы брезентом». «Все равно погоришь», – сказал первый.

А следом за самолетом я вспомнил: «Девочке, как и тебе, двенадцать лет».

Пока я раздумывал, какая она, девочка доиграла до середины пьесу из «Времен года» Чайковского, сбилась, начала заново, но пальцы и в этот раз не справились с трудным пассажем.

Я надел брючки от спортивного костюма и пошел в кухню умыться.

Я увидел девочку со спины.

Она разогревала в ковшике на газовой плите еду.

Она была тоненькая, угловатая, в темной короткой юбке и розовой футболке. Две широкие черные косы спускались по ее спине ниже пояса, и на голове среди густых, мелко выющихся волос белел ровный пробор.

Она повернулась ко мне и сказала, смущаясь:

– Здравствуй! Мы ваши новые соседи.

Я начал умыться. Я ничего не смог ей ответить. Ни единого слова!

– Хочешь, заходи к нам? – сказала она.

– Нет, – буркнул я в бегущую струю воды.

Девочка была оскорблена моим ответом.

Я слышал, как она ушла.

Вернувшись в комнату, я почувствовал, что улыбаюсь и не могу прекратить улыбаться. Я открыл крышку моего секретера – шаткого детища из фанерованных опилочных плит с выкрошившимися шурупами – и уставился на царящий внутри беспорядок.

Я смотрел на хаос книг, тетрадей, банок с фотореактивами, обломков разбившейся авиа-модели... и улыбался.

Минут через пять я выглянул в полутемный коридор.

Напротив отворенной соседней двери висела в воздухе незнакомая старуха в серебристом халате. Сноп солнечных лучей, ярко бьющий из комнаты, высвечивал в ней затихающую жизнь.

– Добрый день! – сказал я вежливо.

Старуха не обратила на меня внимания.

«Глухая!» – понял я.

Чтобы снова побыть в кухне, я дважды вымыл уши и шею. Едва мне мерещилось, что я слышу шаги, я хватался за мыло и начинал намыливать щеки и лоб. И все же девочка прошла за моей спиной неожиданно. Она удалилась в самый конец коридора, и я услышал, как стукнула квартирная дверь.

Я вылетел на лестничную площадку следом за ней и заглянул через перила в пролет лестницы.

Я увидел ее двумя этажами ниже. Быстрая, легкая, часто-часто перебирая ногами, она сбегала по ступеням до самого дна лестничной клетки и исчезла.

Вечером я ураганом носился по квартире, катался по паркету на ногах, кричал Тарзаном, забежал в закуток, где под потолком висел дамский велосипед, залез на лестницу-стремянку и с самого ее верха спрыгнул на пол с таким грохотом, что мать, подозрительно взглянув на меня, строго спросила: «Что с тобой происходит сегодня?» – «Ничего», – поспешно ответил я.

А произошло со мной вот что: отныне я ничего не хотел более, чем только смотреть на лицо этой девочки.

Через два дня Инга Александровна, ее мать, зашла к нам одолжить стакан муки и, взяв меня под локоть, сказала:

– Пойдем, я познакомлю тебя с Мусей!

Мы стояли друг против друга, я озирался по стенам, а девочка терзала свою косу, зажатую на кончике резинкой от лекарства. Вокруг нас возвышалась готическая мебель, и пианино было полированное, зеркально-черное, с витыми бронзовыми подсвечниками, и на стенах тяжелели старинные гравюры в широких рамах. В кресле, уронив голову на грудь, спала старуха.

Меня усадили за стол, поставили передо мной блюдо с большим куском яблочной шарлотки и в синей фарфоровой чашке – клюквенный кисель.

Сто тысяч лет я ел шарлотку и пил кисель. Мне было стыдно, что я так долго ем, и я знал, что мое лицо со стороны выглядит как лицо человека, который вот-вот заплачет. Поэтому я упорно смотрел в блюдо.

Затем время, прорвав замкнутый объем комнаты, полетело стремительно, быстрее и быстрее, пока совершенно не улетело от нас, и я увидел, что мы идем по улице.

На эту прогулку нам было отпущено полтора часа.

– Вы из другого города приехали? – спрашивал я.

– Нет. Просто под нашим домом прокопали туннель метро, и дом треснул, – отвечала девочка.

– Треснул дом?

– Да. До самой крыши. Дыра была такая, что можно было просунуть ладонь.

– Вы же могли все погибнуть!

– Нет. Мы так жили полгода, – сказала она спокойно.

– А здесь вы насовсем?

– Если тот наш дом не отремонтируют. Но папа говорит, что его снесут. А жаль!

– Почему?

– Там все детство прошло.

Внезапно я почувствовал: сейчас она скажет что-то очень важное...

– Я хочу тебя попросить, – заговорила она. – Не называй меня Мусей. В школе меня звали – Маша.

– Я не буду, – обещал я. – А как твое имя полностью?

Она удивленно взглянула на меня, как бы говоря взглядом – разве ты не знаешь? И ответила:

– Мария.

Я был потрясен. Я не знал, от чего произошло мое потрясение, ведь работала в нашем доме дворничиха Мария Петровна, громадная мужеподобная женщина, одутловатая, с толстыми больными ногами, и в деревне жила родственница тетя Маня. Лишь много лет спустя я понял, что в этот день мое сердце славянина впервые потянулось к лицу, в котором робкими чертами просвечивал тот небесный таинственный лик, который – придет время – я увижу в огне иконостаса.

– Полное имя – Мария, – повторила она. – Что тут удивительного?

– Я буду называть тебя – Мария, – сейчас же объявил я ей.

Она удивилась еще больше.

– Зачем? Ведь я не взрослая женщина.

– Все равно, – упрямо заявил я.

– Но будут смеяться.

– Все равно!

Моему счастью предназначалось умножаться и возрастать. В несколько дней я был так пленен новой соседкой, что все прежнее, что влекло меня к себе, разом обесценилось. Она непрерывно стояла у меня перед глазами и даже в самом естестве моих глаз: едва я закрывал их, она являлась ко мне из их глубины. Она была особенной, необыкновенной. И меня удивляло, что, кроме меня, никто этого не видел. Когда мы шли с ней в школу, ни один из мальчиков не обращал на нее внимания, в толпе, в магазине, в автобусе ее грубо толкали, при ней ругались грязными словами, плевали на тротуар, совершенно не замечая того, что она... прекрасна!

Со мной творилось нечто небывалое.

«Я все время хочу ее видеть, – чувствовал я. – Но что такое она?»

Глаза? Они очень нравились мне, но ведь не только глаза. Волосы? Они были дремучи и густы, как у цыганки, но ведь не только волосы. Хрупкая фигурка, тихий голос? Но ведь не только это. Ее игра на фортепиано, ее семья, к которой она принадлежала, ее прошлая жизнь, прожитая сокрыто от меня в том другом, прежнем ее доме? Но и не это только. И даже всё вместе – еще не всё. Я чувствовал: всё вместе – не всё! Что же тогда то невидимое «всё», без чего я мгновенно сиротею и тоскую?

В последнее воскресенье сентября Левитаны всей семьей поехали отдохнуть в Петергоф. И взяли меня с собой.

Метро до железнодорожного вокзала и пригородная электричка до Петергофа перенесли нас из пропахшей табачным дымом коммунальной квартиры в бывшую царскую резиденцию. А для меня важно было лишь то, что я шел рядом с Марией, пальцы мои сжимали футляр фотоаппарата, и я жадно фотографировал фонтаны и статуи, а на самом деле Марию возле фонтанов, Марию возле статуй. Что были мне цари земные и дворцы с золочеными куполами, я видел лишь грифельные линии ее лица, ног, короткий колокол осеннего пальто, мелькание светлых туфель. И я спешил остановить эти мгновенья чистейшего счастья, как будто предчувствовал, что оно не вечно.

В этот день нам обещано было еще одно удовольствие – обратный путь в город мы должны были проделать по Финскому заливу на теплоходе.

И он загудел, задымил и дрогнул, тяжелый озерный теплоход, и толкнулся, и стал отодвигаться от причала, и петергофский парк, каскады фонтанов, легкокрылые дворцы – все полетело от нас прочь! Мы стояли у железного борта. Море свинцовой стеной поднялось перед нами.

– Ты давно строишь модели самолетов? – голос у Марии глухой, далекий, надо поскорее спрятаться за слова, пусть даже самые бесполезные, ведь ничто так не выдает человеческое сердце, как молчание.

– Два года, – отвечаю я.

– Ты хочешь быть летчиком?

– Нет.

– Авиаконструктором?

– Нет. Я просто хотел бы летать.

– Но нельзя летать без крыльев!

– Конечно, нельзя.

– Как же ты полетишь?

Светлый сумасшедший вихрь поднимает меня в небеса.

– Вот так!.. – произношу я.

И сойдя с ума, начинаю махать руками.

Теплоход входит в устье реки. Оно втягивает его, и черный, выющийся над ним дым, и нас с Марией в свое лоно. Мы видим громадный стадион. Вместе с берегом он в сумерках летит мимо нас.

Была безграничная тьма. В сердцевине ее горел красный огонь и, распространяя вокруг себя алый свет, все затухающий, слабеющий по мере удаления от своего источника, выхватывал из небытия изломы и изгибы разнообразных предметов, висящих в воздухе на разных уровнях. Постороннему наблюдателю это место могло бы почудиться зловещей преисподней, но я любил его уединенность и то заманчивое таинство, которое совершалось здесь у меня на глазах и по моей воле. Я сидел за столом, предо мной возвышалась на высоком штативе черная труба фотоувеличителя, и две пластмассовые ванночки с прозрачными растворами проявителя и фиксажной соли отражали в мое лицо огненный свет красного фонаря. Все это происходило в квартирной кладовке – комнатке без окна, куда был перенесен жильцами тот хлам, который они стыдились держать у себя дома. И я знал, что красно-черная змея, делающая кольца над моей головой, – это шланг от испорченного пылесоса, острые рога – четыре ножки положенной на бок этажерки, а все корявые чудовища, взирающие на меня из тьмы, – поломанные стулья, прожженные абажуры, угластые сундуки и отслужившие срок детские коляски.

Я повернул выключатель, и на чистый лист ватманской бумаги спроецировалось изображение. Мария у фонтана «Пирамида». Я вглядываюсь в ее черное лицо, так красиво охваченное белыми волосами, в белые впадины глаз, белое пальто, черные кисти рук и тонкие черные ноги в черных туфлях.

На столе тикает будильник.

Неужели ей не разрешили прийти сюда!

Но вот кто-то тихонечко постучал в дверь. Я открываю. Мария быстро протискивается в кладовку. Щелчок закрываемой задвижки производит в нас мгновенное гипнотическое действие – испуганно мы замираем: что это? мы вдвоем? мы заперты одни в этой красной будоражащей тьме?

Мария усаживается рядом со мной.

От ее рта свежо пахнет яблоком, которое она только что съела.

Я включаю проекцию, и Мария смотрит на картинку, возникшую на белом листе.
– Здесь все наоборот, – шепотом поясню я. – То, что черное, – белое.

Я достаю из пакета лист фотобумаги, который глянцево блестит в моих пальцах, кладу его под изображение, отодвигаю красное стекло и считаю до семи.

– Смотри! – шепчу я и погружаю фотобумагу в проявитель.

Медленно в сверкающей воде начинает проступать изображение – черные волосы, белые кисти рук, светлое небо.

Я нежно тру изображение Марии подушечкой пальца, и все больше деталей проявляется на листе.

Не сговариваясь, мы приподнимаемся с наших стульев...

Мы смотрим друг другу в глаза и всё ближе придвигаемся друг к другу.

Озаренное красным огнем лицо Марии неподвижно.

Наши губы соприкасаются, и мы так и держим их соприкоснувшимися. И при этом с жадным страхом смотрим друг в друга широко раскрытыми глазами.

Изображение на фотобумаге, лежащей в проявителе, выявляется полностью, начинает темнеть и становится сплошной чернотой.

Выпал снег, и город стал просторнее. Убелились деревья, тротуары улиц, крыши домов, и река замерзла и убелилась поверх льда.

Праздновали пятидесятилетие отца Марии – Бориса Ефимовича. Вечером к Левитанам начали приходить гости. Звонок ежеминутно звенел в коридоре – один длинный, унаследованный ими от прежних жильцов. Юбиляр сам ходил открывать входную дверь. Был он в черном костюме, сахарно-белой рубашке и одноцветном галстуке, хозяйка дома – в шелковом платье, даже старуха сменила серый халат на праздничную одежду. Но как была красива Мария в нежно-голубой блузке и с яркими лентами в тяжелых косах. Ее глаза делались при взгляде сияющими, и голова у меня начинала кружиться, едва взгляды наши встречались.

Когда юбиляр вел очередную группу гостей, показывая им по пути квартиру, жилец третьей от входа комнаты – звали его Михаил Козлов – вышел из своей двери и вдруг вытворил перед ними неожиданную штуку. Он присел на полусогнутых ногах, превратился в карлика, угодливо развел в стороны ручки и деланным визгливым голосом прокричал:

– Ой, как много пархатых жидов пришло к нашим пархатым жидам!

И скользнул в комнату обратно.

Гости испуганно переглянулись.

Борис Ефимович кинулся на дверь его комнаты и, заколотив в нее кулаками, заорал:

– Мерзавец! Негодяй!

Появились соседи, кто-то дожевывал кусок, вздыхали, советовали: «С ним лучше не связываться!» и стучали костяшками пальцев по стене.

– Подонок! Стукач! – хрипел Борис Ефимович. – Открой, гадина!

За дверью у Козлова была тишина.

Наконец юбиляра увели в комнату и все успокоились.

Я плохо понимал значение слов, сказанных Козловым, но сообразил, что он нанес этой выходкой оскорбление всей семье Марии и что он это сделал намеренно.

Вдруг я увидел бегущую к телефонному аппарату Ингу Александровну, потом приехали врачи в белых халатах, и Бориса Ефимовича понесли по коридору на носилках. Рубашка была растегнута на его груди, на ногах блестели начищенные туфли. Он смотрел на идущую рядом жену, и лицо его было серо.

Ночью он умер.

Занесенное глубоким снегом кладбище тонуло в тумане. Когда процессия подъехала к месту захоронения, могилышки еще докапывали яму и слышался тупой стук лопат.

Левитаны скорбно стояли возле глиняного отвала, на который из ямы летели желтые комья глины.

Я держал мать за руку, поглядывал на Марию и чувствовал, что она сейчас познаёт что-то большое, взрослое, страшное, что еще не дано познавать мне, и это большое и страшное отделило ее от меня и сделало меня одиноким и беспомощным.

Домой вернулись вечером, и когда сели за стол помянуть хозяина, старуха, взглянув на темноту за окном, вдруг громко спросила:

– А где Боря? Уже час, как он должен вернуться с работы.

Козлов собирал свои грязные тарелки в стопку. Он собрал их все и поставил в раковину. Потом он засучил рукава пижамной куртки и открыл кран на газовом водогрее.

Я стоял, не двигаясь, даже не в оцепенении, а как бы очарованный чем-то сладостно-болезненным.

В этом болезненном состоянии я начал ходить по квартире, забрел в кладовку, увидел поломанный стул без сиденья и понял, что именно он мне и нужен.

Сосредоточившись на своем занятии, я стал выламывать из него дубовую ножку. Она не поддавалась мне, но это даже радовало меня; я знал – от того, что сейчас мне не хватает сил, их прибудет в тот момент, когда они будут мне необходимы.

Стул затрещал, и выломанная ножка оказалась в моей руке.

Козлов домывал посуду, когда я подошел к нему сзади. Жирношей, босоногий, в сбитых кожаных тапочках, он грузно возвышался передо мной. Ручищи его были толсты, брюхо прижато к раковине, над которой шумел цилиндрический водогрей, белый, грязный – всё на фоне темно-зеленой кухонной стены.

Сейчас я скажу ему:

– Дядя Миша, повернись!

Я скажу:

– Повернись!

– Повернись, дядя Миша!

– Повернись ко мне своим лицом!

Он повернулся. Значит, я уже сказал.

Я хотел, чтобы он непременно видел, как я буду бить его, чтобы лицезрение своего позора было для него дополнительной карой. И я ударил его через лицо с такой силой, что мне почудилось от звука удара и от той отдачи, которую я получил от своего орудия в руку, что я убил его.

Глаза его надо мною стали высокими.

Но к моему удивлению, он не упал замертво, а только страшно зарычал и схватился руками за лицо.

Тогда я ударил его по голове.

И сразу очутился в его ручищах, несравнимо превышающих мою возможность сопротивляться ему.

Кухня накренилась, как палуба корабля.

– С-с-с-с-сучонок! – услышал я над своим виском и понял, что мне конец.

Мы оба упали на скользкий пол.

Но я уже ничего не боялся. Я уже поднялся над страхом. Я знал: самое страшное позади, я прошел самое страшное, я уже ударил его.

Вдруг Козлов рывком скатился с меня, и мне открылось в пылающей высоте искаженное лицо моего отца.

– Сволочь! – орал Козлов.

Отец потащил меня по коридору в комнату, а я упирался и кричал:

– Я все равно его убью! Он не будет жить!

Затворив дверь и прижавшись к ней спиной, отец хрипел мне в самое лицо:

– Ты понимаешь, что он может сделать! Или ты захотел в колонию? На Пряжку захотел?

Но я ничего не желал знать. Я хотел бить Козлова по лицу.

В квартире началась суматоха. Козлов, разъяренный, весь в густой крови, рычал, как зверь, и порывался вызвать милицию, чтобы меня и моего отца немедленно взяли под стражу, и орал, что он сам, своей рукой, таких, как мы, с удовольствием расстреливал бы тысячами, десятками тысяч! Но все понимали, и сам он понимал, что произошедшее слишком позорно для него и единственное, что он может сделать, – это написать на нас донос. Но и он, как и я, жаждал в эту минуту мщения и крови.

К ночи у меня поднялась температура, и мне все казалось, что Мария сидит рядом со мной и я ей все время повторяю: «Я отомстил. Я отомстил». И эти слова фантастическим образом звучат совсем иначе: «Какая ты красивая, Мария! Какая красивая!» Моя мать здорово напилась, много меня целовала, и помню, с нею рядом сидела мама Марии, и обе они пили водку и плакали. Впрочем, может быть, это было уже на следующий день или в другой последовательности – мозг мой события ухватывал урывками и в единую картину сложить не мог.

Весной Левитаны уехали в Москву. Навсегда. Инга Александровна говорила, что они уезжают, потому что там учится старший сын и там будет им удобнее, но все понимали, что они уезжают от смерти, случившейся здесь.

Черное приталенное пальто, черный беретик, туфельки без каблучков...

Мария изогнула руку.

Ее тонкая рука – острием локтя вниз, раскрытой ладонью перед губами. Она целует свою ладонь, направляет ее пальцами вверх в мою сторону и, глядя на меня, легко и сильно дует на ладонь. И дыхание ее летит ко мне из глубины двора на высоту пятого этажа.

Вот он, этот воздушный поцелуй! Я вдохнул его.

В высоте над крышами – облака.

Облака летят и смотрят на наше прощанье.

13. Лесной царь

Я увидел внимательные голубые глаза старого человека.

Потом я увидел над его глазами веки с нежными пшеничными ресницами, кустистые рыже-седые брови, широкий нос с огромнейшими выпуклыми ноздрями, коричневые, изрисованные морщинами щеки, лоб, седую дремучую бороду, жидкие белые волосы надо лбом... Я увидел крепкие старые руки, сжимавшие возле его груди красноватыми пальцами шапку-ушанку... И почувствовал тошнотворный запах сивухи.

Но прежде всего этого, даже еще прежде самих смотрящих на меня глаз Лесного царя я увидел... любовь. Она была светла и бездонна. Она занимала все пространство между моими глазами и глазами Лесного царя. Она не имела очертаний и вместе с тем наполняла собою всё.

«Вот какая!..» – восхитился я и, приподнявшись на кровати, проговорил:

– Николай Николаевич!

Старик снял с моей головы полосатую тряпку, плеснул на тряпку самогонкой из большой литровой бутылки с узким горлом и заботливо уложил на мой лоб.

Опять все вокруг меня погрузилось в пьяную вонь сивушных масел.

«Как огонь!..» – донесся до меня голос Лесного царя. И издали: – До станции добегу! – и из очень далекого далека: – Держись за облака! Облака не падают... Летят...»

«И деревья летят. И реки летят. Вместе с берегами, вместе с руслами и водами... и пароходами... летят. И дома летят. И дымы из труб летят. И летят целые города с улицами, площадями, садами, автомашинами на улицах... Асфальт волнуется, дома изгибаются... И ничто не рушится, но как отражение в воде. Ярко, празднично! И люди летят над летящими реками, над летящими городами, вместе с облаками, вместе с птицами. И все празднично! И все просвечено солнцем! И множится отражениями в небе и в воде! Все может летать. Парить. Зависать. Нисходить и возноситься. Легко. Свободно. Без тяжести. Без боли. Но не здесь». – «Где?» – «Там. Далеко. За краем земного шара. За выпуклостью округлого горизонта. Видишь?» – «Вижу». – «Это край земного шара». – «Разве у шара есть край?» – «Есть». – «И дальше?..» – «Дальше – всё позади». – «Земля?» – «Да». – «А жизнь?» – «Жизнь не бывает ни позади, ни впереди. Она всегда». – «Как хорошо!» – «Что хорошо?» – «То, что она всегда. Я с детства подозревал об этом. Нет, я был в этом уверен». – «В чем уверен?» – «В том, что можно летать без крыльев, нисходить, возноситься и никогда не умирать. Я это испытал сам». – «Это было с тобой?» – «Да. Но, может быть, не наяву, а во сне, но разве это имеет какое-то значение?» – «Не имеет». – «Ведь между явью и сном нет границы?» – «Нет». – «Есть только переход, перелет, перенесение». – «И как это было?» – «Неожиданно». – «Что неожиданно?» – «То, что я испытал. То есть то, что со мной было. Это оказалось совсем не так, как я себе представлял. Потому что я себе представлял, что если я полечу над земным шаром, не имея крыльев, то полет мой будет подобен полету самолета. Я сожму ноги вместе, вытянусь, расставлю напряженные руки в стороны, чуть отклоню их назад, и когда полечу, одежда на мне звонко затрепещет от давления воздушных потоков, как она трепещет на парашютистах во время затяжного прыжка. И вот мы с нею просто ступали по воздуху так, будто под наши ноги подставлялась кем-то невидимая прозрачная опора. Но ступая на опору, мы не чувствовали тяжести своего тела. Земля больше не притягивала нас к себе. Мы бегали в воздушном пространстве, но не проваливались вниз, хотя и низ, и верх продолжали существовать. Мы могли перемещаться с любой скоростью, не употребляя при этом никаких усилий, не напрягая наших мускулов, но единственно по нашему желанию быть там, где нам хотелось. И сердце мое при этих стремительных перемещениях не начинало биться быстрее, но напротив, я чувствовал чудесную легкость и прежде не знаемую мной сладость внутри моего сердца». – «И что же было с вами?» – «Сначала, едва мы взлетели,

мы плыли над вершинами золотых осенних деревьев, над плоскими озерами, над покатыми дымчатыми холмами, потом переместились на иную высоту, и с нее уже не различимы стали ни деревья, ни холмы, ни маленькие озера, но открылись океаны, части континентов. Я увидел над нами звезды. Их было несметное множество, ярких, прекрасных какою-то огнеподобной, уже не земной красотой».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.